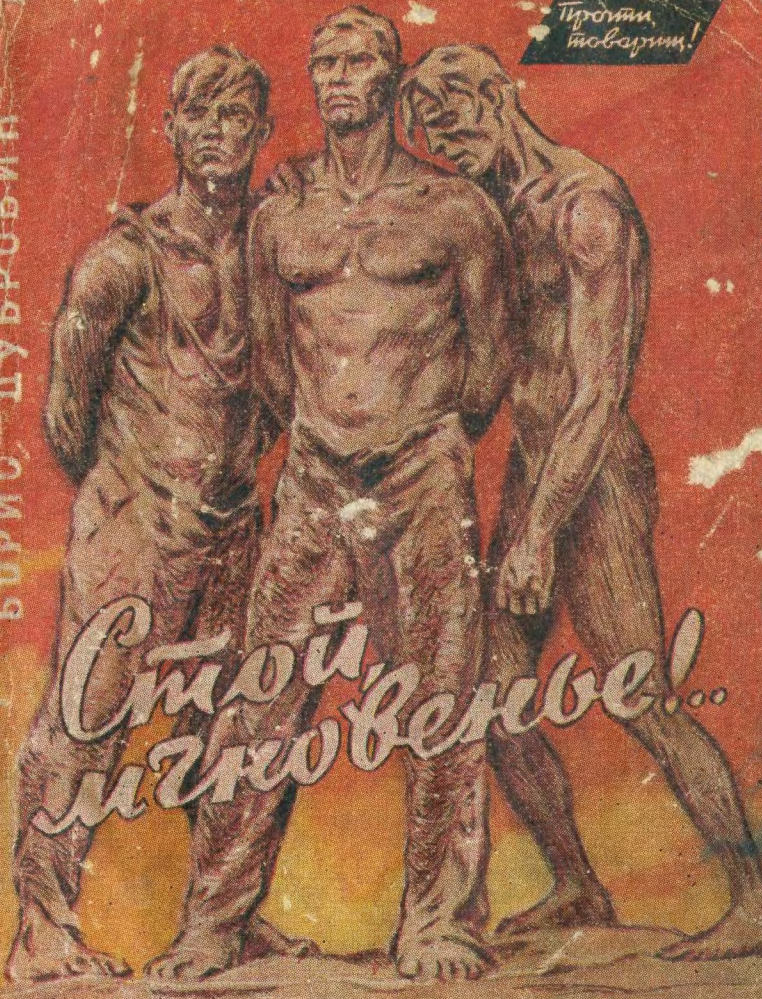


9 коп.

Прочитай
товарищ!

БОРИС ПУБРОВИЧ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЗНАНИЕ



Стой,
изменеве!..

Борис Дубровин

**Стой,
мгновенье!**

(Военные рассказы)

Издательство «Знание»

Москва, 1964

«Стой, мгновенье!» — книга о тех, чья жизнь — подвиг. Пограничники, наступающие диверсанта. Летчики, чье мужество сильнее смерти. Водолазы, совершающие то, чего не знала история. Хирург — властитель человеческого сердца. Машинист, предотвративший катастрофу... Люди, простые советские люди — герои этой книги.

Борис Дубровин неутомимо пишет о ратном подвиге нашего народа. Ему принадлежат книги «На первом рубеже», «Окрыленные бойцы», «Тревожная группа», «Цветение», «Ветер мужества», «Провожает земля», «Конец безмолвию», «Почему в Кара-Кумы?», «Сердца, неведомые миру», «Счастье первой тропы» и «Дыхание границы», которая удостоена республиканской премии.



Стой, мгновенье!

Скульптору Фивейскому

Черствая земля темна. В четыре ряда обкручена колючей проволокой, точно земля для того и существует, чтобы ее, как приговоренную к смерти, опутали напоследок, боясь, как бы она не вырвалась и не сбежала. Ослепшее от слез, оглохшее от взрывов, захлебнувшееся кровью, лежит в терновом венце колючей проволоки лицо обреченной земли. Разве она увидит, услышит, поймет их?

В концлагере одни говорили, что это — разведчики. Другие утверждали, что это — партизаны, взорвавшие мост и утопившие в реке эшелон карателей. Третьи убеждали, что это — тан-

кисты, дравшиеся до последнего снаряда и контуженными попавшие в плен. Никому не были известны их имена. Но знали все, что это они подняли бунт в лагере, вырвали оружие у стражи, организовали побег и, оставшись сами, до конца прикрывали других.

Гестаповцы пытали их всю ночь. Потом три полумертвых тела сволокли под колючую проволоку, чтобы расстрелять на рассвете.

Они распластались один подле другого, но боль и забытие разделили их на многие годы и многие километры. Самый молодой очнулся первым. Жизнь возвращалась болью. Он попытался ощупать себя, но не смог: руки связаны за спиной. Тогда он свел пальцы в кулаки. Так легче. Напряг все мускулы, и, казалось, тело зазвенело, как железное, но веревка не поддавалась. Главное сейчас было — порвать веревку. Воздушный стрелок, он, еще не приходя в сознание, верил, что сейчас дотянется до пулемета. Земля казалась самолетом, летящим сквозь ночь и залпы батарей.

Второй — штурман. Ему привиделся последний воздушный бой. Вспыхнуло крыло их бомбардировщика и, смертельно раненный, командир экипажа крикнул: «Прыгай!» Не успели они выпрыгнуть, как командир накренил запылавший, наполненный бомбами самолет и ринулся, обгоняя парашютистов, к железнодорожному мосту,

через который вот-вот должен был промчатся уже показавшийся вражеский эшелон. Как две линии треугольника, одна, окутанная паром, и другая, охваченная огнем, на середине моста сомкнулись эшелон и бомбардировщик. От этого взрыва штурман очнулся. Летчик погиб. Теперь он, штурман, оставался старшим. А не только руки веревкой, все тело опутано болью, и повернуться нельзя. Открыл глаза. В предрассветной призрачной мгле — могильный холмик. Нет, это мертвый... «Радист, — не узнал, а догадался штурман, — радист».

Радист застонал. Он то проваливался в воронку, то взмывал к звездам, то переворачивался, то слушал, как сердце выстукивает позывные забвенья и отчаянья.

Штурман прислушался: не ошибся ли? «Может, радист уже и не стонет?..» Но тут что-то придвинулось к лицу штурмана. «Что это?.. Рука. Руки не связаны... Значит, все. Не встать радисту, когда придут за нами на рассвете. Вон у него по голове не то волосы расплющены, не то кровь. А если я поднимусь, то поднимется и он. Надо стоя, стоя надо встречать смерть». Он даже прошептал последние слова, но радист его не слышал: он опять низвергся в пропасть.

Он забыл о сбитых им «фокке-вульфах», о вчерашней схватке с эсэсовцами. Он не помнил, что не стонал под пыткой. Он улетал. И только

сердце, словно само по себе, стучалось в землю, пытаюсь достучаться до какой-то неведомой правды. И тут падение в пропасть прекратилось: кто-то надавил на его руку. Уже пришли палачи.

Штурман подбородком дотянулся до руки радиста. Тот открыл глаза, увидел сквозь багровую мглу поднимающегося штурмана. Пошатываясь на разбитых ногах, штурман встал. Радист обхватил его ноги, вскарабкался по телу друга и привалился к нему, обняв его за шею.

А воздушный стрелок уже стоял. Он думал, на кого же из палачей ему броситься, как только ослабнет веревка.

Их повели. Они шли не один за другим, а как бы шеренгой. Вернее, шел стрелок, штурман неуклюже ступал перебитыми ногами, почти неся на себе радиста.

Трава позади них становилась багровой, и заря началась не на горизонте, а в этой красной траве. Они шли, наступали на тьму ночи, давили ее, и заря ширилась.

Они шли. Их вел штурман. Верным, последним курсом вел их штурман.

Огромное опаленное, оголенное крыло земли. Неужели где-то есть люди, леса и реки?..

Равнодушно посвечивают стволы автоматов. Из них сейчас вылетит очередь. Все будет кончено. Только бы не упасть, только бы дойти с поднятой головой до конца. Слышно, как шуршат

босые ноги, как скрипят сапоги. Где-то робко попробовала голос птица, точно не знала сама: можно ей петь или нет. И запела для них, последний раз.

И повеяло рекой, и освежило их, и, застонав, закричала от тоски чайка.

— Стой! — закричал немецкий офицер.

Их остановили на краю вырытой могилы.

— Еще не все кончено! — словно через пропасть крикнул летчикам офицер. — В последний раз предлагаю служить нам.

Немцу вдруг показалось, что пропасть расширилась, хотя по-прежнему только двенадцать шагов выжженной земли разделяло его и приговоренных. Ему показалось даже, что они не расслышали его слов.

Стрелок шагнул к штурману, веревка поддалась. Сейчас он ее разорвет. А перед этим он обязательно крикнет: «Гады!»

Но плечо, окаменевшее плечо штурмана, к которому он прижался, твердо сказало ему: «Молчи! Совсем молчи!»

И стрелок понял. Надо молчать. Он только дорывал веревку, чтоб успеть броситься на фрица.

Радист упал бы, но, вцепившись, повис на плече друга, врос в его тело, словно закопал в нем свое отчаянье и слабость. Он прижался к плечу штурмана не грудью, а сердцем. И сердце

услышало: «Надо стоять. Стой, стой, держись». Земля уходила из-под ног, но радист держался. И штурман стоял, потому что надо было поддержать их. Потому что смерть надо встречать стоя.

Немец сделал полшага вперед, чтобы повторить свои слова. Но тут он увидел, что штурман смотрит сквозь него, точно он приговорил офицера, точно его, германского обер-лейтенанта уже и нет на земле, а владычат на ней эти трое. И не эти люди стояли на земле, а она покоилась на их мужестве и непримиримости.

Офицер вскинул руку.

Солдаты подняли автоматы...

Трое, словно отлитые из бронзы, стояли неподвижно...

Седая женщина, вскрикнув, кинулась к ним...

И остановилась.

Они уже были бронзовыми. И двое из них казались ей родными погибшими на фронте сыновьями.

Люди молча стояли вокруг.

«Сильнее смерти», — гласило название скульптуры.

Люди смотрели на своих бронзовых братьев, и на их лицах проступало выражение мужества и непоколебимости, точно приговоренные к смер-

ти делились с оставшимися в живых самым дорогим на свете.

Седая женщина все еще недвижно стояла около них. Мать уже не могла закрыть их собою от пуль. Но грудь от смерти закрыло их искусство, подняло, как символ мужества и веры. Подняло над веками, потому что искусство, как и подвиг, сильнее смерти.





Застава или крепость?

Вальс «Над волнами» грустно и медленно плыл над волнами. Он овладевал сердцами, переливался через окна и тянулся к волнам Западного Буга. И не верилось, что мягкие и легкие истоки вальса рождаются твердыми и тяжелыми пальцами пулеметчика. А он, пулеметчик Моксяков, словно не слышал музыки. Словно пальцы двигались сами собой, а глаза смотрели сквозь черные окна в пограничную ночь. И ему казалось, что он сейчас не играет вальс «Над волнами», а стоит на берегу Западного Буга и вбирает в себя шепот ветра и шорох листвы.

Завтра воскресенье. Нет, уже сейчас наступило воскресенье 22 июня 1941 года.

Он отложил гармонь. Поздно. Спать пора. Но потянуло на улицу. Вышел. Вернулись наряды. Пограничники переговариваются:

— Ну, завтра денек будет!

— Да, отдохнем!

— Увольнительные уже выписаны.

— А я, братцы, фотографироваться пойду с утра!

Давно не было такой ночи, такой тихой ночи. Небо в звездах, как в серебряных кнопках гармонь. И словно только ветер чуть-чуть нажимает на них, наигрывая что-то знакомое и убаюкивающее.

— Ну и отдохнем же завтра!

...Тяжелый взрыв артиллерийского снаряда потряс двухэтажное здание заставы.

Второй взрыв слился с криком дежурного: «Застава, в ружье!»

Тревога вырвала людей из постелей, вложила в их руки винтовки.

Вот уже показались широкие плечи Лопатина. Он начальник заставы. Он командует коротко, слегка окая. В эти мгновения, когда мир переворачивается, его оканье звучит едва ли не более успокаивающе, чем его точные и резкие приказы:

— Занять оборону согласно плану! Детей и женщин в подвал! Как связь?

Связь прервана сразу же.

Снаряды рвались во дворе. И восход солнца смешался с огромным заревом, которое стремительно охватывало ближние и дальние деревни. Война.

Жена Лопатина прибежала с плачущим ребенком. Мать Лопатина, семидесятилетняя старушка, привела за руку его старшего сына. Жена политрука Гласова успокаивает плачущую дочь.

А пограничники уже заняли оборону по блокгаузам и на втором этаже здания. Зрочки пулеметов повернули в сторону границы.

То на одном блокгаузе, то на другом мелькают Лопатин и Гласов.

Заместитель Лопатина по строевой части лейтенант Погорелов мчится с бойцами к железнодорожному ромошскому мосту через Буг. Скорее туда, чтобы помешать противнику форсировать реку. Пятнадцать человек увел с собой Погорелов. Украинец, любивший напевать свои плавные песни. Мягкий человек. Но сколько в этом высоком и веселом человеке дерзости и отваги. Вот он первый кидается на врага. Вот он отбил крупнокалиберный пулемет, развернул его и смел гитлеровцев с моста. Фашистский пулемет бил по фашистам.

Бил пулемет! И смерть, приготовленная нашим бойцам, наступала гитлеровцев. Нет, недаром Лопатин любил Погорелова и послал его к этому мосту. Это был уже не мост через Буг,

это был мост, ведущий от жизни к смерти, от неизвестности к славе. Было что-то более сильное, чем крупнокалиберные пули в этом ответном ударе.

Первый отпор лопатинцев ошеломил врагов. Им казалось, что сама земля начинает стрелять, что прорваться будет невозможно.

— Давыдов! За подкреплением! — приказал Погорелов. Патроны были на исходе.

Погорелов вырвал винтовку у первого подбежавшего гитлеровца и заработал штыком. Молча. Лицо в лицо. Глаза в глаза. Грудь в грудь. Но кто-то выстрелил сзади, и несколько ножевых немецких штыков пронзило уже мертвого лейтенанта.

Лицо Давыдова залито кровью. Он ранен. Но он пробирается на заставу. Отстреливается, отступает, но бьет и успеваешь уложить двух немцев. Кровь заливает глаза, но руки привычно вскидывают винтовку. И вот падает третий. «Врешь, — шепчет Давыдов, — Врешь!» И он стреляет снова.

А в это время, форсировав Западный Буг, первые гитлеровцы бросились на заставу. Пламя горящих построек опоясывало немцев багровым светом, и сами немцы с засученными рукавами, с распахнутыми на груди мундирами возникали языками пламени, которое метнулось на заставу и вот-вот стиснет ее мертвой хваткой.

Первые гитлеровцы ринулись во двор заставы, но сержант Котов короткой очередью из «максима» свалил их всех.

Так кончилась первая немецкая атака.

Но вслед за ней на блокгаузы полетели пули, снаряды и мины. Враг решил скопиться в лощине, отделявшей церковь от заставы, забросать блокгаузы гранатами и захватить здание.

Первый блокгауз разворотило снарядом.

Лощина стала серой от немецких мундиров. Начиналась вторая атака.

Раненого пограничника унесли из блокгауза, а остальные перебрались в здание и встретили атакующих огнем из окна кухни.

Но уже справа, со стороны деревни Скоморохи, выплеснулась третья атака.

Лопатин и комсомолец сержант Котов приоткрыли у пулеметов. Стволы их «максимов» ждали атакующих.

Фашисты бежали все увереннее, они были почти убеждены, что сопротивление сломлено и что застава будет принадлежать им. Вот они уже совсем близко, скрипели под сапогами бегущих камни. Их лица, разгоряченные вином и атакой, красными пятнами всплывали перед стволами двух «максимов», и тут, не сговариваясь, коротко ударили Лопатин и Котов. Побледневшие лица запрокидывались, немцы падали, добежав

почти до стен. Ни один враг не вернулся живым из этой атаки.

А на заставе приводили в порядок оружие, подтаскивали боеприпасы.

И чем ожесточенней наваливались враги, тем тверже становились лопатинцы. «Выстоим!» — говорил Дожилин, заряжая винтовку. И его серые глаза, прищуриваясь, впивались в шеренги набегавших врагов.

— Не сдадим заставу! — поддерживал Тимоньев. И в его словах звучала готовность биться до конца. Он старался держаться так же, как и командир. Он подражал своему командиру во всем.

— Живым они меня не возьмут! — сквозь стиснутые зубы бросал Филиппов и снайперски точно бил из скорострельной винтовки. Потом в короткие секунды передышки перевязывал товарищей, оттаскивал раненых и опять хватался за винтовку.

— Убьют если, то не скоро, а уж не победят никогда, попомните мои слова. Я их так ненавижу, что жалко мне пулю мимо пустить. И страх мой пропал. Был сперва, а теперь пропал. Теперь только бы не промахнуться, — так приговаривал Фомин и, действительно, стрелял редко, но всегда попадал в цель.

И в каждом из бойцов было что-то от Лопатина и от Гласова. Точно теперь, наконец, про-

ступили какие-то особые черты, роднящие их всех и делающие их в чем-то похожими друг на друга.

Дожилин, Тимоньев, Филиппов, Рыбков, Фомин — люди труда. Они никогда не помышляли о мести, они думали о работе после демобилизации, один токарь, другой тракторист, третий шахтер. «Все мы, как один», — сказал Фомин Гласову, когда политрук спросил их:

— Ну как, товарищи? Держимся?

— Как один! — еще раз повторил Фомин. — Я их так ненавижу, товарищ политрук, что и мертвый убью кого-нибудь из фашистов. Вот помните мои слова!

А между тем шли минуты великой войны, и о ее масштабах на заставе не знали. Но помнили свой долг. И чувствовали, что защищают не только будущее, но и прошлое своей Родины.

Атаки длились секунды. И целая вечность проходила за эти секунды. Атаки накатывались со всех сторон. И было непонятно, как успевал политрук Гласов появиться то перед Корбовским лугом и бросить гранату, то направить свой автомат на бегущих из лощин, от церкви, то сменить раненого пулеметчика у окна второго этажа и бить короткими смертоносными очередями по наступающим от ворот и из-за дома офицерского состава. Политрук был всюду. И его появление, как и появление Лопатина, звучало призывом:

«Точней! Быстрей! Смелей!» И бойцам они казались выше ростом, чем были до этого рассвета, крепче, старше, мудрее. Командиры. На них можно положиться. И на них полагались.

Эти первые часы атак равнялись годам. И когда отхлынули немцы, пограничники оглядели друг друга, как после долгой разлуки, обнаружив друг в друге что-то неожиданно новое. И они почувствовали, что хотя их несколько десятков, но они большая сила, о которую уже раскололась не одна атака врага.

Вот залитый кровью, пошатываясь, проходит по коридору Давыдов. Он ищет Лопатина. А навстречу жена Погорелова:

— Ну как там? Как муж?

При виде его окровавленного лица ее зрачки темнеют и расширяются от предчувствия чего-то непоправимого.

Из-за спины Давыдова возникает пронзительный взгляд Лопатина:

— Давыдов!

Давыдов обернулся:

— Товарищ начальник заставы, лейтенант...

— Живо на перевязку! Доложишь потом! — Лопатин уводит Давыдова, Давыдов шепотом сообщает:

— Лейтенант Погорелов... убит... Все погибли...

А жена Погорелова догоняет их:

— Как Алеша? Что с ним?

— Жив, жив. Скоро вернется... — не поднимая глаз, отвечает Лопатин и быстро уходит.

В подвале ждет маленькая дочь:

— Мама, почему папы так долго нет? Когда он придет? Мне страшно.

— Он придет... — Слышит женщина, как выговаривают ее каменеющие губы, и знает, что он теперь не придет никогда...

А на заставу уже навалилась первая черная ночь войны. Где-то восточнее мечутся в огне и умирают посевы, деревни, люди. В небе на восток тяжелые бомбардировщики тянут свой страшный груз. Справа и слева от заставы, вблизи и вдали, вгрызаются в ночь танки, орудия и грузовики с пехотой. И все — на восток и все — на наших. Эта огромная, от моря до моря, лава наступления должна была в первые же мгновения смыть, сжечь, как щепку, испепелить маленькую заставу. Но произошло чудо. Вокруг были фашисты. А заставка жила.

И не только жила.

Вернулся посланный в комендатуру в город Сокаль рядовой Перепечкин и сообщил, что Сокаль занят; это же подтвердили посланные вслед за ним и раненные в разведке Моксяков и Павлов. Лопатин принял решение: сражаться!

Приказа отступать не было. Значит, надо стоять до конца.

Что могла противопоставить врагу застава?

Два станковых пулемета, двадцать автоматов, десяток скорострельных винтовок, винтовки, ограниченный запас ручных гранат, очень скромный запас патронов. Да еще, и это было немало важным, надежда на крепкое здание, на его толстые в метр кирпичные стены, на его сводчатый, бетонированный, ушедший в землю подвал, стены и потолок которого превышали прочность всего здания.

Питание кончалось, если не считать остатков муки, колотого гороха и капусты на дне бочки.

В воскресенье старшина Клещенко намеревался поехать в Сокаль и получить продукты на неделю. Но в воскресенье началась война.

Вода... Вода — в колодце, и уже к нему с ведром пополз Герасимов. Он, лежа на спине, накинул свой ремень на рукоятку артезианского колодца и так, лежа, рискуя каждую минуту получить пулю, накачал полведра воды и ползком вернулся в здание. К рассвету бочка из-под капусты до краев заполнилась водой.

К рассвету по приказу Лопатина разобрали почти все печи и заложили вход и окна, оставив в них отверстия для ведения огня.

Блокгаузы, эти оборонительные точки с двумя накатами бревен и земли, за ночь укрепили, а разбитый блокгауз привели в боевую готовность. К блокгаузам вели подземные ходы, и по

ним пробирались бойцы, чтобы подкрепиться пресными лепешками, испеченными из остатков муки на единственной плите.

Кончилась соль.

Топили досками, вынутыми из солдатских коек.

Матрацы стащили в подвал, и на них спали женщины, дети и раненые.

Но могущественнее пулеметов, автоматов, гранат и метровых стен было мужество оторванных от Родины горстки людей.

Первыми убедились в этом два взвода немецкой пехоты, после долгого пулеметного и минометного обстрела пытавшиеся атаковать заставу.

Пограничники не только оборонялись: они нападали. И это 23 июня почувствовали мотоциклисты, двигавшиеся по дороге из деревни Ильковицы в Скоморохи. Дорога и небольшой деревянный мост через речку Млынарку простреливались с заставы. Девять мертвых мотоциклистов распластались у моста. Лопатин приказал взорвать мост, через который переправлялись обозы, машины, мотоциклисты.

Под самым носом немцев мост взлетел в воздух.

Едва старшина Клещенко и рядовой Перепечкин вернулись с этой операции, как в ответ за взорванный мост по заставе ударило артиллерийское орудие. Снаряды сотрясали стены, сы-

палась штукатурка, отскакивали осколки кирпича, брызгали стекла.

Застава молчала. Все помнили приказ Лопатина: беречь патроны, подпускать противника как можно ближе.

Приняв молчание за бессилие, атакующие приблизились к дому, где два дня назад жили советские офицеры. Щелкнули одиночные выстрелы, и враги отпрянули, потеряв трех солдат.

Всю ночь немецкие ракеты висели над заставой и строчили длинные пулеметные очереди.

По приказу Лопатина дежурило у каждого окна по два пограничника, и пока один засыпал, другой боец прислушивался к ночи. Сержант Герасимов между пулеметными очередями уловил в саду шорох. Шорох приближался. Вот он у стены. Со второго этажа Герасимов бросил гранату.

А наутро у стены было двое убитых.

И утром же показался белый флаг парламен-тера. Флаг нес местный житель Матвей Скачко—старик. С пистолетом в руке за стариком шел, подгоняя его, офицер и за офицером—шесть солдат. Шаги старика делались все короче, все медленнее.

Застава видела все.

Галченков доложил Лопатину и по приказу командира приготовился огнем ручного пулемета отсечь немцев от старика.

Тогда в полной тишине к ним донесся старческий голос: «Не пойду!»

И выстрел.

Не успел еще старик упасть, как пули Галченкова настигли и офицера, и шесть его солдат. И тут спрятанные за конюшней гитлеровцы рванулись на заставу. Но пулеметы и автоматы пограничников отшвырнули их назад.

Уже второй день нечего было есть.

А около разрушенного офицерского домика разгуливал боров, откормленный женой Гласова. Его пристрелили, привязали веревкой за ногу и втащили в помещение. Но жирную свинину без хлеба и без соли есть было невозможно. Солдаты из кусков сала выбирали мясо по ниточке...

— Товарищ командир, две женщины идут к заставе от Буга.

— Не стрелять. Пусть идут.

Две женщины в ярко расшитых платьях, в пестрых фартуках, с ситцевыми косынками и босые шли мимо здания.

— А здесь прикордонники были. Видно, побивали всех. Давай побачим.

Одна посадила другую, та подтянулась к окну первого этажа, заглянула в амбразуру и обомлела. Глаза ее встретились со спокойными глазами Лопатина.

Лопатин узнал от них, что идут они к родным в Скоморохи, что вокруг немцы. Лейтенант

попросил женщин не говорить в Скоморохах никому, что пограничники живы, но позаботиться прислать им хлеб.

Женщины проскользнули мимо немецких засад, и ночью в мешке передали Лопатину хлеб. Как сумели они проникнуть сквозь немецкие заставы, непонятно. Но несколько буханок только что испеченного хлеба подкрепили пограничников. И, может быть, потому, что к теплоте крестьянского хлеба прибавилась теплота крестьянских сердец, может быть, именно поэтому утренние атаки отбили сразу.

И снова застава замолчала. И особенная тишина опустилась тогда, когда через сад во двор въехал конный разъезд. Трое ускакали, но трое остались лежать. За спиной у одного была обнаружена походная рация. Попробовали настроиться, но радиостов среди пограничников не оказалось. В наушниках слышалось потрескивание и немецкая отрывистая речь.

Галеты и несколько плиток шоколада из карманов убитых перешли в ручонки осунувшихся исхудалых детей.

И тут грянул артиллерийский обстрел. Били со стороны церкви. Били долго. Верхний этаж разрушили почти полностью. Но камни, словно участвуя в обороне, умирая, прикрывали собой первый этаж.

Думая, что с пограничниками покончено, нем-

цы, скопившиеся справа за баней, за сараем и в лошине, устремились на заставу.

Пограничники помнили приказ: подпускать как можно ближе.

Немцы опять отступили, но погибли Тимоньев, Дожилин, Филиппов, Рябков, Павлов и Фомин.

Двухэтажное здание стало одноэтажным. Сплошь в обломках, оно производило впечатление мертвых, беззащитных развалин. Наверное, его растерзанный вид и мертвое молчание заинтересовали генерала, который объезжал немецкие тылы.

За четыре дня далеко ушли германские войска, и не думал генерал, что здесь, в глубоком немецком тылу, он встретит русских с оружием. Для остроты ощущений генерал избрал мотоцикл с коляской: все-таки проходимость у мотоцикла больше. Вот даже сейчас к этому разгромленному зданию он ни за что не проехал бы на машине. А на мотоцикле — пожалуйста.

Дородный, долговязый, с тяжеловатым брюшком, генерал вылез из коляски, стряхнул с лампаса пылинку, размял слегка затекшие ноги, снял генеральскую фуражку, аккуратно положил ее на дно коляски, повернулся лицом к заставе, чтобы лучше оценить славную германскую работу. От удовольствия он даже двумя руками разгладил волосы и уже открыл рот, чтобы выска-

зять одобрение, как вдруг короткая очередь ткнула мотоциклиста головой в грудь, срезала сопровождающего, и генерал с открытым ртом успел сделать только несколько шагов к бане. Так и лежал он, когда его обыскивали, с открытым ртом. Но теперь казалось, что мертвый рот открыт не то от ужаса, не то от изумления.

Генеральскую плитку шоколада и завтрак Лопатин приказал отдать раненым. Раненые передили их детям.

Над захваченными картами, где хищные стрелы наступления простирались до Урала, над этими картами склонились пограничники.

Генерала оттащили в баню. А уже очень скоро путь к бане устелили тела вражеских солдат, пытавшихся добраться до убитого и вынести его к своим.

В подвале жены офицеров набивали патронами пулеметные ленты, перевязывали раненых. Раненые снова возвращались в строй. Дети сжались, притихли и только вздрагивали при новом артиллерийском налете.

Тяжелораненые приподнимали голову с матраца и с ненавистью смотрели на свои простреленные руки. Но руки не могли сжимать оружия. Некоторые бойцы пробовали пошевелить разбитым плечом, но, скрипя зубами, роняли головы на подушки.

На пятый день раненых увел Клещенко.

Был смертельно ранен политрук Гласов. Но он, пересиливая боль, спрашивал жену:

— Держимся?

— Да! — отвечала она.

— Держаться! Держаться! — шептал Гласов.

Потом ему стало немного легче и он внятно заговорил. — Берегите командира! Не падайте духом! Нас много, нас очень много. Враги еще и сами не знают, сколько нас. Человека убить они могут, но Родину — никогда.

Редели ряды защитников крепости, и прерывающийся голос политрука умолкал. Видно, пришел и его последний час. Но он еще шептал и советовал набрать воды, он еще раз напомнил: «Держаться!»

Когда на шестой день обороны Гласов почувствовал приближение смерти, он сказал:

— Я горжусь, что служил с вами, я горжусь, что умираю, как солдат... — Он затих, и бойцам показалось, что все кончилось. Жена приподняла голову мужа, он раскрыл глаза и прошептал убежденно: — Я вам говорю точно: мы победим! А за правое дело и смерть не страшна.

Лопатин не присаживался. Начальник заставы ободрял бойцов, наклонялся к раненым, утешал детей, успокаивал женщин:

— Ничего, ничего. Скоро вы проберетесь к своим, а мы не отступим. Иначе нельзя. Хотя мы и в кольце, а все же врагам не даем покоя.

Они еще зубы поломают о нашу заставу. Нет у нас связи, но верю и знаю, что не одна наша заставка так держится! Не одна!

На седьмой день бледные от голода и бессоницы, как тени, уходили женщины и дети. Лопатин обнял жену. После тяжелой ночи уснул на руках у жены младший сын. Последний раз заглянуть бы ему в глаза. Но жалко будить ребенка. Так и не посмотрел сын на отца. Лишь темными запекшимися губами припал отец к запавшей пепельной щеке сына. И женщины растаяли в предрассветном тумане, унося детей от смерти.

От дерева к дереву, от куста к кусту, ложиной, оврагами пошли, пошли и скрылись из глаз дорогие люди. Придется ли встретиться вновь?..

Нет уже в живых Гласова, Погорелова, Павлова, Галченкова. Лопатин, Моксяков, Котов, Песков, Никитин и другие еще держатся. Это они не дают упасть красному флагу. Флаг-жил. И чем дальше уносились на восток черные гитлеровские знамена, тем яростнее и непримиримее пылал над заставой выцветший, маленький, раненый, но не сдающийся советский красный флаг.

Рядом с защитниками заставы в подвале лежал убитый политрук. Но и мертвый он продолжал сражаться. Он не уходил из жизни.

— Хорошо, что политрук велел воды набрать.

— Правильно политрук посоветовал бить отсюда.

— Ты помнишь, как он в последний раз прошептал: «Держаться!»?

Так шепотом переговаривались бойцы.

Держаться!

Это слово политрука звенело, как заповедь, как присяга.

Держаться! Бойцы не смыкали глаз, не складывали оружия.

Держаться! И ничтожные крупицы пищи подкрепляли обессиленных.

Держаться! И неуклюжие от слабости пальцы набивали пулеметные ленты, перевязывали друга и прирастали к пулемету.

Пограничники не думали, что через много лет их назовут лопатинцами. Лопатин не думал о звании Героя Советского Союза, которое совсем недавно присвоено ему. Не думал Лопатин, что во Львове его именем будет названа улица, назван район, названа новая застава.

Нет, только об одном думал он: один человек — воин!

Застава мала, здание разрушено, существует только подвал. Но из подвала можно стрелять. И чем больше врагов упадет здесь, тем меньше врагов поднимется там, где их встречает не застава, а вся Советская Армия.

Блокгаузы разрушены. Враги видят это и без

бинокля. Враги лишь не могут заглянуть в сердца пограничников, оглохших от взрывов, ослабших от ран и голода, но помнящих одно — держаться!

И когда уже не в рост, не нагло, как в первый день войны, а ползком, согнувшись, крадучись, на десятый день войны надвигаются серые мундиры со свастикой, их снова встречает огонь.

Можно подумать, что смерть проходит мимо этих безумцев-пограничников.

Нет, смерть не проходит мимо. Она берет одного за другим. Но каждый умирающий пограничник завещает всю свою ненависть живущим. И живущие встречают врага.

Вот уже нет блокгаузов, остался только подвал. И пули летят из подвала. А когда кому-нибудь из нападающих удастся прорваться сюда, он напарывается на штыки.

Вот с правого фланга заходят враги. Но в них впиваются штыки засевших здесь пограничников. Тогда направление атаки меняется, и враги врываются в подвал с другой стороны, где их с пистолетом в одной руке и электрическим фонарем в другой встречает Лопатин.

Он освещает первого вбежавшего и стреляет в него, потом во второго. Уже с пульей в груди Лопатин последний раз прицеливается и, умирая, убивает врага.

Так окончилась эта борьба.

Пограничников было несколько десятков, врагов — сотни.

Часть тяжелораненых и контуженных пограничников взяли в плен. Одни погибли в лагерях смерти, другие — в концентрационных лагерях.

В живых сейчас только трое: Ефим Галченков, Дмитрий Моксяков, Иван Котов.

Идут годы.

Давно обрушились искрошенные бревна блокгаузов, давным-давно ливни и непогоды сгладили края окопов, не осталось в бесформенных развалинах здания даже стреляной гильзы.

Но никогда не сгладится в сердце народа подвиг лопатинцев, никогда не уйдут из благодарной памяти народа имена погибших и живых.

Стареют камни в развалинах, но лопатинцы остались молодыми, сильными и отважными. Они не стареют, не постареют, они вечно с нами, как призыв к верности, мужеству и отваге.





Человек

Светлая рука в темной ночи напутственно махала ему. И словно не прожектор паровоза, а эта добрая рука раздвигала суровую тьму.

— Ведь простудишься! — укорял он женщину, стоявшую у калитки маленького дома. Во мраке машинист Виктор Никифорович Мишаков не мог разглядеть жену. Но кому бы еще, если не ей, провожать его в дорогу!

Тяжелая, жесткая ладонь неожиданно легко и мягко опустилась на тягу свистка. В тишине, будто опасаясь разбудить Конотоп, скорый курьерский поезд не прокричал, а прошептал: «Ту-туу, прощайте...»

Машинист оглянулся на бессонный огонек своего дома, на белый женский силуэт, который, подобно бессонному огоньку, становился все меньше и меньше...

Огонь прожектора и огонь родного дома. Они не ослепляли друг друга. И путь вперед открывали два этих луча. Глубоко-глубоко в долинах темноты, справа, с малыми огнями проходил Конотоп, точно земля все огни подарила небу, оставив себе только несколько избранных путеводных звезд — несколько огней Конотопа. А высоко-высоко искры Млечного Пути мерцали подвесной железной дорогой, и шли по ней своим вечным рейсом составы облаков и эшелоны туч.

Виктор Никифорович обернулся к приборам, укрепленным на стенке котла. В тесной паровой будке машинист заново ощутил, как близко в котле клоочет двухсотградусная масса воды, стиснутая давлением пятнадцати атмосфер.

Но руки Мишакова привычно и властно смиряли в котле вулкан. Это они — угловатые, жесткие руки — заставляли буйную стихию вращать огромные колеса и бережно нести пятнадцать вагонов и тысячи человек навстречу Москве и рассвету.

Прожектор пробивал во тьме серебристый тоннель, а мощный локомотив грудью наваливался на спрессованный скоростью воздух.

Зрачки машиниста цепко прощупывали мятущееся пространство, предугадывая то, пока еще незримое, что набегало за подслеповатым окончанием длинного прожекторного луча.

Молчаливо вглядывается машинист в смутное лицо ночи. Как сужены светло-зеленые глаза Мишакова!.. Кажется, и глаз вовсе нет, а изпод черных бровей две зеленоватые полосы перечеркивают летящий навстречу синий сумрак ночи... Когда промозглый ветер бьет в лицо, исчезают и эти полосы. Живут только острые зрачки. Они прокалывают темноту. Они отточены постоянным напряжением. Потому что, может быть, одному машинисту знакома спокойная и тревожная, вечно таящая грозные неожиданности, беспечно обнаженная дорога.

От топки веяло теплом родного дома. И Виктору Никифоровичу словно послышалось, как скрипнула калитка, жена поднялась по ступеням и, мягко ступая, вошла в дом. Склонилась над детьми, так же, как склоняется он.

Поезд набирает скорость и несет машиниста в воспоминания. Босое, в грязной рубаше с чужого плеча, вот оно — его беспризорное детство. Оно шныряет по базарам Воронежа, спит в подворотнях Харькова, ютится на дырявых чердаках Луганска...

Не тогда ли впервые увидел он чудо? Чудо на четырех солнцах. Паровоз. Восьмилетний

Витька в прожженном одноухом красноармейском шлеме замер перед пыхтящим великаном. Шлем сползает на глаза. Оборванец шмыгает носом и с наслаждением впитывает горький дым. Как бог, бородатый, от сажи и копоти черный, как дьявол, машинист разрешил ему отогреть заостеневшие руки и вложил в них ломоть ржаного хлеба.

Паровоз вдруг пронзительно свистнул... Тронулся... Вздрогнул Витька... Вспомнилась гражданская... И партизанка в кожанке. Крест-накрест пулеметные ленты... Целый квартал семенил тогда Витька за партизанкой в кожанке...

А тут восьмилетний беспризорник увидел землю, грудь которой, точно кожанку партизанки, крест-накрест перехватили пулеметные ленты железных дорог.

Так впервые узнал Мишаков железную дорогу. В ней соединилось и чудо на четырех солнцах, и дыхание чего-то смелого и беззаветного, как партизаны, и бескорыстного, как тот бородатый машинист, отдавший голодному последний кусок хлеба. Поверилось, что на железных дорогах люди железные, что на таких прямых путях нельзя кривить душой, нельзя быть слабым, жалким, трусливым.

В детдоме он потянулся к тетради, где линии на белых листках напоминали линии рельс в заснеженном поле. Пионерский галстук он воспри-

нял, как красный флажок железнодорожника. А этот флажок призван предупреждать об опасности и останавливать беду. Виктор бросался в драку, если старшие мальчишки обижали малышей. Когда становилось особенно трудно, воспитательница Матрена Дмитриевна Панько поправляла ему пионерский галстук и тихо-тихо говорила: «Ничего, Виктор. Я тебе верю. Ты не подведешь...»

Он вел ребят в школу, в кино, в мастерские. Но самому ему казалось, что он идет все время по одной тропе, в депо, где ждет его бородатый машинист.

...Курьерский поезд врезается в ночь.

Виктор Никифорович Мишаков наращивает скорость до восьмидесяти километров в час. Но быстрее, чем нагие поляны, проносятся воспоминания. И вот уже не мартовские поляны, а носилки с тяжелоранеными, покачиваясь, вливаются в простреленный эшелон, который с фронта ведет Мишаков. В широких дверях теплушки носилки остановились. Вражеский истребитель пулеметной очередью свалил санитаря. А раненый боец с простреленной грудью, хрипя, крикнул Мишакову: «Давай, браток!» Боец на локте приподнялся с носилок и, задыхаясь, махнул ему забинтованным обрубком руки: «Давай!..»

Через смотровое окно машинисту открывается пятнадцатиметровая длина котла, обведенного

боковой площадкой, Мишаков выглянул в узкое боковое окошко.

Терещенское позади. Через четыре минуты Маково.

Ночь и узкая паровозная будка. В будке двое — Мишаков и его помощник. Лица их потемнели от копоти, усталости и ночи. Один походил на другого. Только на правом крыле вглядывался в ночь Мишаков, а на левом — его помощник. И с левой стороны просто можно пробраться по боковой площадке, вдоль всего котла паровоза до переднего бруса.

Впереди, чуть внизу, мирно проступали огни Макова.

Поезд шел под уклон. Он набирал скорость. Сейчас машинист переведет его на холостой ход.

И тут в полуметре от лица машиниста из стены котла вырвало вентиль инжектора Патана. Смешанная с паром водяная струя, накаленная до двухсот двенадцати градусов под давлением пятнадцати атмосфер, эта смертоносная лава отсекла от Мишакова рычаги торможения, обожгла лицо, грудь и руки.

А паровоз, как бешеный, не помчался, а прыгнул, кинулся в ночь, неистово взвинчивая скорость.

Если даже ломом сразмаху ударить по такой струе, ее не перешибешь. Это знал Мишаков. Но он метнулся к тормозам. Пылающая вода сорва-

ла рукавицы и отшвырнула обваренные руки.

Перехватило дыхание. Струя хлестала. Паровоз потерял управление. Скорость взвилась.

Отсеченный от мира, обваренный человек просунул ноги в боковое окно, нащупал, ухватился за правый подлокотник. От муки он глянул вверх. И не было ни одной блески Млечного пути — небо сплошь прожгли искры паровозной трубы. А над грозной трубой расплеснулся дым. Ни туч, ни облаков. Во все небо — дым. По всей земле дым. Он захватил и детство, и юность — всю жизнь Мишакова.

Время стало исчисляться не минутами, а долями секунд, и в эти мгновения перед глазами возникла вся жизнь.

Куском угля, раскаленным добела, мелькнула луна. И вдруг почудилось, что бородатый машинист за спиной в обреченном поезде. И детдомовцы — на подножках. Матрена Дмитриевна поправила ему пионерский галстук и тихо-тихо проговорила: «Ты не подведешь!» Раненый боец приподнялся на локте с носилок и, задыхаясь, махнул ему: «Давай!» И семья в этом обреченном поезде. И все те, что, улыбаясь, видят во сне Москву и встречи, а несутся навстречу смерти.

И вдруг машинист почувствовал, что это не колеса поезда — это его сердце колотится о железную дорогу.

Прошло уже много времени, три бесконечные секунды.

Всю паровозную будку забило паром. Разве пробьешься к тормозам?! Ветер. Да и не добраться к ней с моей стороны. Поезд устремился к откосу. К последнему повороту. Остановить!

Бледная береза выскочила на пригорок, протянула тонкую руку и отпрянула.

Отшатнулся пригорок.

Сторожка с расширенными от ужаса глазами шарахнулась во мрак.

Лицо, руки, грудь нестерпимо горят, словно все тело стиснуто раскаленными углями.

А колеса твердят: «Конец! Конец! Конец!» Неужели приходит конец? Да разве может он допустить, чтоб они погибли?!

«Концевой кран! Им можно затормозить!..»

К нему надо добраться!

А этот концевой кран там, над гудящей бездной, там, впереди, по ту сторону жизни, у переднего бруса паровоза, в пятнадцати метрах отсюда.

Правой рукой схватился за вращающийся скоростиметр, и кожи на правой ладони не стало. Ноги соскользнули, и на одной левой руке повис машинист...

Пальцы немеют. Но левая нога нащупала опору, правая рука взметнулась к трубопроводу, идущему чуть выше скоростиметра. Хватаясь за

что попало, цеплялся Мишаков за ускользящий паровоз. Но паровоз, уверенный в победе, торопился поскорее сбросить свою жертву под колеса.

На какие-то доли секунды сознание гасло, но тело еще как бы продолжало мыслить, руки еще отчаянней стискивали трубопровод, и ноги прирастали к содрогающемуся металлу. А когда руки слабели и ноги подкашивались, когда человек, отделившийся от паровоза, неминуемо должен был низвергнуться, тогда вспыхивали искры сознания, и машинист опять припадал к паровозу.

За плечами в вагонах были уже не только спокойно спящие люди, не только своя семья, не только свое детство были за обожженными плечами, — вся страна, вся Земля неслась на его паровозе, и уступить смерти человек не мог.

Он мог сорваться под колеса, если бы речь шла только о нем. Но тысячи сердец доверились ему! Вот почему его сердце еще сильнее стало колотиться и вдруг подбросило его на боковую площадку. Он разбил ноги. Встать не мог. Однако паровоз развил такую скорость и так мчался, чтобы слететь под откос, и смерть придвинулась так близко, что коммунист Мишаков пополз, приподнялся, согнувшись побежал по площадке, спустился по ступеням и упал на передний брус паровоза.

Ветер ринулся, чтобы остудить пылающие

раны. Последний ветер жизни обнял Мишакова. Его, как добычу, нес перед собой паровоз.

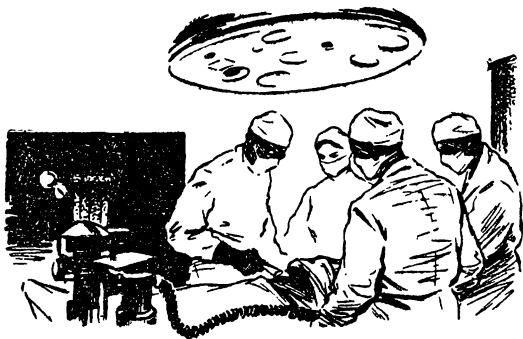
Но сознание еще не померкло. Левая рука нащупала фару, и правая рука, вернее, то, что минуту назад называлось правой рукой, спустилось по брису и стиснуло концевой кран.

Поезд замедляет ход. Люди продолжают досматривать свои безмятежные сны. А машинисту кажется, что спасенный состав летит по Млечному Пути, что высоко-высоко мерцают огни Конотопа.

А где-то вдали, у дома, светлая рука в темной ночи напутственно машет ему. И словно не прожектор паровоза, а эта добрая рука раздвигает суровую тьму. «Ведь простудишься», — укоряет он жену, стоящую у калитки...

Кажется, поезд еще стремительнее набирает скорость. Виктору Никифоровичу трудно разглядеть женщину во мраке. Но она становится все больше-больше. Не жена это, а Родина. И кому бы еще, если не ей, провожать его в дорогу...





Открытое сердце

Здание тульского военного госпиталя вздрагивало от орудийной канонады. От взрывов бомб содрогалась контуженная земля. Ее дрожь передавалась раненому пехотинцу. Слабеющей рукой он держался за руку майора медицинской службы Петровского.

И чем слабее он держался, тем труднее было врачу отойти от раненого.

Преживаясь, голосом, озябшим от студеной близости смерти, боец шептал:

— Боюсь умереть. Спаси!

Когда человека положили на операционный стол, губы его пошевелились, и врач, не уловив

ни звука, почувствовал, что повторяет сам: «Спаси»...

Мужество рождается необходимостью. Недрогнувшей рукой Борис Васильевич Петровский тогда провел первую в своей жизни операцию на сердце.

Солдата спасли. Но горя было много. И среди оскаленных развалин, среди кровоточащей земли, среди разгула смерти вставали отважные в белых халатах. Как посланцы мира, они отстаивали жизнь. Среди пожаров, под обстрелами, под бомбежками Борис Васильевич не оперировал только мертвых. И когда бойцы с переднего края несли раненых, и те и другие, увидев хирурга, становились спокойнее.

Врач отрешался от выстрелов, от визга осколков, от страха: он спасал человека. Трудно сказать — отвага ли это. Может быть, в нем неумолчно звенела кровь отца — неугомимого сельского врача. Может быть, сказывалась закалка, полученная на войне с белофиннами. Может быть, росло сознание своей причастности к невиданной эпопее, в которую и его скальпель впишет свою цифру спасенных. А вернее, все это вместе наращивало силы, изумляя не столько окружающих, сколько его самого.

Хирург по трое суток не отходил от операционного стола. День отличался от нового дня, зимний месяц отличался от весеннего не разно-

стью температур, а сложностью операций. Дни, месяцы, годы воспринимались как раненые, которые обязаны вернуться в строй.

Бомбардировщики черными крестами зачеркивали синее небо, землю распяли многотонные гвозди фугасных бомб. Не только дороги, поля и реки, но и Черное море становилось красным. А врач с убежденностью фанатика считал кровь на граммы и самозабвенно выхаживал солдат, растоптаных войной. И сама смерть, бродившая вокруг операционного стола, сама смерть пятилась, отступая. Из ее цепких лап хирург вырывал полумертвых солдат. Его руки стали руками жизни.

И даже здесь, на фронте Борис Васильевич ухитрился учиться и учить. Он рос как человек и как хирург потому, что даже в самые жестокие дни, при самой чрезмерной перегрузке помнил о главном. Исковерканные руки, разорванные осколками плечи, простреленные сердца и зияющие легкие не заслоняли судьбу раненого. Профессор верил в каждого, верил, что они помогут ему своей стойкостью, своей неумемной, яростной жаждой жизни.

Кончилась война, но для врача она продолжается.

Ночью после сложной операции усталому профессору не спится. Свет в квартире погашен. Но Борису Васильевичу видятся яркая лампа,

тусклое лицо больного, слышится прерывающийся пульс. Перед глазами возникают и обжигают уже ставшие воспоминаниями только что происходившие события. Лежа в темноте, он думает, а как там сейчас? Что с больным?

На цыпочках, чтобы не разбудить спящих, доктор, беззвучно ступая, выходит из комнаты и припадает к телефону. Три часа ночи. Дежурный врач снимает трубку. Петровский подробно расспрашивает о больном и только потом засыпает.

И когда он выходит из операционной и входит в палату, лица проясняются: радость вошла раньше его. Светлеет и лицо хирурга. То ли это он, как надежда, входит к безнадежно больным? То ли их вера молодит добрые сияющие глаза профессора? Он идет высокий, широкоплечий. Иногда кажется, что он здесь случайно, мимоходом. Но вдруг из-под одеяла на груди больного покажется свежий шов, и такая улыбка блеснет в благодарных глазах, что поймешь — откуда черпает врач свои силы. Взглянешь на ряды коек и поймешь, сколько энергии требуется от врача, чтобы изо дня в день по много часов вести тяжелую борьбу за жизнь.

Скульптор отливает памятник из бронзы или высекает его из гранита. Строители создают свои многоэтажные памятники, и они занимают свое незыблемое место на улицах и площадях. Но по

всей земле живут живые памятники — творение рук Петровского. Петровского, прошедшего путь от санитаря до профессора. Давно ушла юность, далека и молодость. Профессору за пятьдесят. Но рядом с ним вас не оставляет ощущение молодости. И вы понимаете, что цельный характер, железная воля и редкая выносливость — необходимые качества хирурга.

...Надев белый халат, я занял место, откуда все было хорошо видно. Вспыхнул электрический свет и...

Воздушным стрелком летал я сквозь огонь зениток. В пограничных скалах на коне повисал над ночной бездной. На торпедном катере мчался по штормовому океану. Но никогда сердце мое не сжималось так, как в безмолвии операционного зала, когда я ждал, как в руке профессора сожмется другое сердце.

И вот больной на столе.

Он укрыт простыней.

Он уже под общим наркозом. Ему делают кислородное дыхание.

Правая рука как бы откинута на подставку, и к руке подключен прибор, отмечающий работу сердца. Левая рука приподнята металлической дугой, под прямым углом согнута в локте, прочно прибинтована к этой дуге.

Он лежит на правом боку, а левый уже об-
нажают.

Вокруг больного профессор и врачи.

Профессор пошевелил пальцами и как будто магнитами притянул стальные зажимы. Мелькают руки. Рана покрывается сталью зажимов.

Жду, что кровь хлынет. Но кровь только полыхнула и словно сгорела. Кровь отступила. А под скальпелем хирурга живые ткани продолжали расступаться все глубже и глубже.

Белизна халатов сгладила несхожесть фигур, белизна марлевых повязок утаила цвет и форму лиц, белые шапочки укрыли волосы. Все свои силы они сейчас отдавали борьбе за жизнь человека, который, закрыв глаза и открыв сердце, лежал перед ними. Лежал и ждал помощи. Он уже не мог думать. Не мог надеяться. Не мог отчаяться. Он вручил себя им.

Все халаты слились в одно целое, подобно доброму и зоркому существу. И это многорукое существо склонилось над человеком.

А на улице беззаботная капель выстукивает первые позывные весны. Над головой сугробы облаков. Под ногами оплывают облака сугробов.

Здесь тишина. Здесь электрический свет, потому что хирурги не доверяют даже солнцу. Здесь неуловимо быстрые, а порою томительно медленные движения. И тебя поразит внешнее спокойствие людей в белых халатах. Тебя потрясет чуть не пополам рассеченное тело. Ты ви-

дишь, не слышишь, а видишь бьющееся человеческое сердце. Ты — зритель, и ты почти теряешь сознание. Но ты только смотришь на обнаженное сердце, а они касаются его. Ты смотришь, как спасают. А они — спасают. Нож в руке профессора, сохраняя свою твердость, обретает чуткость человека. Нож теперь—продолжение пальцев хирурга.

Тело больного рассечено. Ребра раздвинуты, и нож погружается в живые ткани. Руки хирурга, как обнаженные нервы. Неожиданные микроскопические препятствия он ощущает раньше, чем лезвие рассечет нитку живой ткани. И вот эти руки держат умирающее сердце...

Руки профессора и его помощников движутся в неуловимом ритме. Разрезана сердечная сорочка, точнее, мешочек, хранящий сердце...

Неожиданно в глубине предсердия хирург обнаружил тромб. Тромб — это плотный шаровидный сгусток крови. Он плавает в сердце, как морская мина. Стоит этому тромбу закрыть отверстие клапана или легочную вену, и мгновенная смерть неизбежна.

А сейчас руки доктора охватывают стенку предсердия круговым швом. Затем сердце отсекается. Палец хирурга проникает между стенкой сердца и тромбом. Палец, словно крючком, поддевает этот сгусток и выбрасывает из сердца. Вслед за этим разъяренная струя крови как бы

с ненавистью выплевывает остатки тромба. Предсердие свободно.

Хирург снимает перчатку с правой руки.

Нет! Операция не кончена. Операция на самой высшей точке.

Рука обмыта особым раствором, и указательный палец профессора входит в глубину человеческого сердца!..

Отверстие клапана, ведущего из предсердия в желудочек, должно быть диаметром три с половиной сантиметра. Но у больного клапан сужен пороком, мертвой хваткой оцепили его спайки. Диаметр его около шести миллиметров. Предсердие не может протолкнуть нужное количество крови.

Указательный палец хирурга слегка расширяет отверстие, указывая путь крови.

Теперь Борис Васильевич вводит в сердце пилообразный нож, изогнутый по пальцу, и надсекает спайки. Нож извлекается, и палец раздвигает края клапана. Другая рука придерживает сердце.

— Давление?

— Восемьдесят, — слышится ответ.

Это значит, что давление крови резко упало.

— Переливание, — приказывает профессор. И протягивает руку. Еще звучит его приказ, а в руке его уже выпрямилась тонкая трубка, увенчанная иглой.

— Кровь! — говорит он.

И мгновенно из отверстия иглы протянулась багряная нитка крови. Борис Васильевич вводит кровь в аорту. Давление с восьмидесяти поднимается до ста тридцати.

Только что могло остановиться, останавливалось, но не остановилось сердце. И вот уже смертный рубеж позади!..

Беззвучные движения врачей кажутся сновидением. Они понимают друг друга по взгляду. Они, как слаженный организм, едины.

О, если бы миллионы людей увидели, как борются врачи за человеческое сердце!.. Наверное, многие с большим уважением стали бы относиться друг к другу. Смягчились бы самые резкие слова и заранее бы продумывались чрезмерно самоуверенные поступки. Было бы так, потому что страшно ранимо человеческое сердце...

Все еще на столе лежит больной. Его сердце в руках Петровского. Теперь оно будет работать...

Я понял, что можно создавать космические корабли, можно расщеплять таинственные атомы, можно воздвигать громадные здания на века. Но самое главное, чтобы ровно стучало маленькое и великое, бессмертное и невечное, еще одно спасенное сердце. И тогда полетят, полетят космические корабли, тогда расщепленные атомы откроют нам свою огромную мощь, тогда воз-

веденные здания приютят миллионы судеб. Все это будет, если будет работать сердце.

Тише!.. Идет операция.

Идет борьба за человеческое сердце...





Подо льдом

Днем была ночь. Полярная ночь Арктики. Перед смутными очертаниями безмолвных ледоколов едва различимыми точками возникли шесть человек. А ночь бушевала пургой, ночь гнала с полюса сухие, колющие и слепящие тучи снега, ночь стирала непреклонные контуры ледоколов, ломала мечи прожекторов, ночь хохотала, освистывала шестерых безумцев. И перед громадами ночи, пурги и ледоколов шесть человек становились все меньше. Они побелели от снега, словно побледнели перед грядущим. И думалось, что ночь и мороз, что вздыбленные торосы моря Лаптевых и ледоколы не только раздавят и сот-

рут в белый прах этих шестерых карликов, но просто и не заметят этого.

Ночь задыхалась от ярости, и тьма ее, прочеркнутая прожекторами, раскрывалась все черней и огромней, как утыканная клыками айсбергов свирепая пасть исполинской медведицы.

Но за этими шестью точками, как бы вмерзшими в ледяную пустыню, за этими шестью карликами, словно скованными страхом, за этими шестью человеками, убеленными пургой и опасностью, но не побледневшими перед ними, за этими людьми лежали сломленные ими преграды. И если бы у ночи, кроме гнева и жестокости, были бы еще глаза и память, ей бы открылось немало. За Александром Павловичем Мишиным стояли годы войны, годы потерь и побед, годы риска и напряжения: «Дорога жизни» на Ладожском озере, бессчетные подводные рейды в Финском заливе, на Балтике, на Севере и на Одере. Свыше пяти тысяч часов провел он под водой. И за одним из самых молодых — за Дорианом Котенко пылала скорбная и немеркнущая ленинградская эпопея, его сердце вобрало осколки снарядов, судеб и испытаний, обрушенных на великий и вечный Ленинград. За Николаем Михайловичем Губиным, за Василием Сокуром, за Александром Андреевым и за Виктором Мурашевым воспоминания раскрывали преодоленные глубины многих морей.

Они, эти шесть человек, услышав, что ледоколы «Капитан Белоусов» и «Капитан Воронин» повреждены, вызвались сами, оторвались от своего Ленинграда, который жалко оставить и на один час. Они знали, что такого подводного ремонта ледоколов в Арктике да еще полярной ночью не было в истории. И не за длинным рублем и не за славой, а просто по велению сердца, просто потому, что иначе нельзя, встали эти люди здесь, у бухты Тикси перед безмерностью ночи, пурги и льдов.

Так начался поединок.

Мишин, Андреев и Котенко вместе с матросами ледокола «Капитан Белоусов» натянули на месте работ брезентовую палатку. Бочка из-под бензина обрела трубу, топку и стала печкой. С удивительной прожорливостью она поглощала обломки ящиков, каменный уголь и темные куски отверделой нефти. Аппетит новоиспеченной печки значительно уступал ее теплу, так что, пока согревалась грудь, обращенная к топке, спина успевала оцепенеть. И в палатке, куцей и утлой, как рыбацкое суденышко, была установлена помпа, а двое матросов с ледокола качали воздух для того, кто спустится в воду. Шланги от помпы шли в сторонке, чтобы не касаться печки.

В который раз, но здесь в Тикси впервые, стройный и подтянутый Мишин начал одеваться

перед спуском в море. На мускулистую грудь и руки, обрисованные тельняшкой, лег свитер из верблюжьей шерсти. Рейтузы, еще свитер, плотные ватные штаны, шубные, кожаные, обильно подбитые мехом чулки выше колен, шерстяные перчатки, шерстяная феска — все это преобразило Мишина. Но когда он облачился в прорезиненную тройную ткань водолазной рубахи, когда на его ногах воцарились тридцатишестикилограммовые свинцовые калоши, а на груди и спине пудовые, хотя и круглые, как медали, грузы, притянутые веревкой, когда наконец застекленный глобус скафандра увенчал эту глыбу ткани, свинца, железа и резины, тогда Мишина не стало. Стояло не то неповторимое железноголовое чудовище, весившее сто шестьдесят килограммов, не то посланец неведомой планеты, и лишь упрямый подбородок, утонувший в глубине скафандра, помогал угадать в этой глыбе человека. Нелегко двигаться в таком пятипудовом одеянии.

Тяжело ступая, водолаз с грушеобразной пятисотваттной лампой в руке подошел к проруби. Прорубь площадью в один квадратный метр была вырублена во льду перед самым носом ледокола. Она напоминала венец колодца, сложенного из белого, метровой толщины мрамора.

По спусковому концу, так называется пенько-

вая веревка с балластом, человек начал спускаться под воду.

Темное густое море жадно схватило водолаза, сжало его, уверенное, что никогда уже не отпустит к людям. Шипел в скафандре воздух, подаваемый из палатки. Перед стеклом иллюминатора, как микроскопические воздушные шары, покатались вверх шарики воздуха. Тяжкое облачение водолаза начало терять вес и в неповоротливом большеголовом чудовище проснулась гибкость и подвижность человека.

Годы подводного труда! Годы, годы! Это вы научили Мишина редкому искусству так нажимать головой на золотник, чтобы точно устанавливать вес и плавучесть своего закованного в водолазные доспехи тела. Вот и теперь он, не думая, руководствуясь инстинктом водолаза, головой нажимает золотник, освобождается от хищных объятий моря, становится невесомым и, прикоснувшись ко дну, ощущает ил и глину. Черт возьми! Жить стоит, если ты можешь остаться один на один с морем! Не только остаться, а драться с ним!

Лампа — своеобразный фонарь. Мишин вытягивает ее перед собой. Зеленая, студенистая вода просматривается метра на два, а стоит сделать шаг, как муть взлетевшего ила заволакивает все перед глазами.

Дно ровное. Черно-серая глина присыпана

илом, как пеплом, словно здесь сожжены и похоронены надежды всех, пытавшихся спорить с Арктикой.

Шаг.

Еще шаг. И ничего не видно. Остановка.

Рассеивается ил, и перед стеклом иллюминатора рыбешки. Небольшие рыбешки. Сантиметров по пятнадцать — двадцать. Замершие, изумленные флотилии рыб. Рыбы не понимают еще, живое существо перед ними или видение. Видение поднимает лампу, и рыбы исчезают. Но на смену им несутся новые, чтобы своими глазами увидеть призрак, потому что живое существо, а тем более человек, не часто отваживалось спуститься под лед, под свинцовую толщу полярного льда.

А человеку не до рыб. Он наклоняется к илу, он поворачивается в разные стороны, то плывет, то идет. Он всматривается в непоколебимую зеленовато-черную беспредельность, чтобы найти трос с балластом, поднять его и перенести с левого борта на правый.

Стоит слегка перебрать воздуха, как море, разъяренное подвижностью пришельца, пытается выкинуть его наверх, а попробуй позабудься и не добери воздуха, и море кинется, чтобы задушить тебя. Оно не первый раз пытается покончить с тобой, но снова и снова отступает и прикидывается мирным, тихим и добропорядочным.

Мишин сперва почувствовал, а потом уже увидел, где находится трос с балластом. Он поднял его и понес к другому борту, глазами нащупывая хотя бы намек на огонек, на искру огня, потому что с другого борта по совету Мишина заблаговременно, как ориентир, спустили другую лампу подводного освещения. Но толща воды растопила свет во мгле, и опять пришлось припомнить все повороты, какие делал при поиске троса. Припомнил все повороты до единого, чтобы выбрать направление поиска правого борта. У ледокола двадцать два метра в ширину, но в крошечной тьме под миллионотонными сводами льдов такой путь может равняться километрам. Опыт! Спасительный опыт! Вот справа — не свет, не сумрак, а робкий, трепетный полунамек на свет, и Мишин движется туда, где медленно-медленно, сначала как бледная искорка, потом как тусклая звезда, а потом уже ярко и обрадованно выдвигается лампа правого борта. Здесь глубина метров восемь. Мишин передает трос наверх, матросы «Белоусова» обтягивают им подводную часть ледокола и к тросу крепят беседку. Мишин мельком думает о тех отъявленных оптимистах, которые опрокинутый навзничь длинный и узкий деревянный стол так поэтически называли беседкой. Беседку весьма прозаически подводят на тросах под пробоину. С бортов ледокола регулируют длину тросов, передвига-

ют беседку то вправо, то влево, то вверх, то вниз. Все это по приказу Мишина, связанного телефоном с ледоколом.

Беседка, наконец, укреплена, к ней привязан балласт, чтобы уменьшить ее плавучесть. Водолаз взбирается на этот стол и к одному из тросов привязывает лампу. Глаза водолаза, как глаза хирурга. Он остро и пристально всматривается в носовую часть ледокола. Она, как летопись пережитого. Длинные трещины зияют в ней, как раны. Царапины глубокие, как шрамы. И на мгновение чудится, что вокруг ран и шрамов багровеет не ржавчина, а спекшаяся кровь корабля.

Скала, не отмеченная в лоциях, встала на его пути и гранитным плугом пропахала грудь ледокола. Сейчас, под водой, Мишин чувствует боль металла, словно раны и шрамы ледокола рассекли его широкую грудь.

Телефонную связь с Мишиным держал Котенко, голос его звучал приглушенно, словно из другого мира. И сейчас, когда Мишин вылез и озябший наклонился к блаженному теплу печурки, приятно видеть, что Котенко не в другом мире, а рядом. А Дориан Котенко уже готовится к спуску. Он берет с собой металлическую щетку, зубила и кувалду. Обхватив ногами края так называемой беседки, лежа на спине, он сдирает металлической щеткой ржавчину: короткий

рывок, и коричневая муть обволакивает трещины.

Потом он еще сильнее зацепился ногами за края беседки. Лево́й рукой на сгибе в локте держа́сь за трос и сжимая ею же зубило, он набирает побольше воздуха и скафандром упирается о корпус корабля. В правой руке десятикилограммовая кувалда. Тут уж не скажешь: точка опоры.

А воздуха набрано столько, так упираешься скафандром о корпус, что стоит лишь соскользнуть, и тебя, как пробку, выбросит и может выбросить даже ногами вверх. Котенко зубилом вырубает фаски по трещинам. Он снимает угол кромки металла для увеличения площади сварки. Кувалда тяжела. А сила удара не та: мешают вода. Садятся зубила, сдают руки, слабеют удары.

На смену Котенко спускается Андреев. Когда Андреев вылезает из проруби, его водолазный костюм покрывается ледяной коркой и человека волокут в палатку.

Так идут под водой секунды, минуты, часы.

Наконец, все готово для сварки, и с электродом в руке перед трещиной вырастает Мишин. Работа тонкая и точная, а держаться не за что.

Тогда Мишин ногами обнимает беседку. Используя плавучесть, он располагает свое тело под углом в сорок пять градусов к доске беседки.

Знаменитые цирковые трюки — просто детская забава перед сложностью творимого.

Человек под углом в сорок пять градусов находится на зыбкой беседке. Он обязан не только с безукоризненной аккуратностью заваривать трещины, но ни на секунду не забывать об опасности. Не прерывая сварки, он то и дело должен нажимать головой на золотник, уравнивать себя и держать тело во всех рыцарских доспехах под заданным углом. Строго под заданным углом, чтобы игла электрода не отрывалась от шва сварки.

Стоит чуть-чуть недобрать воздуха, и тут же игла электрода отскочит от шва, и сварка оборвется.

Стоит чуть-чуть перебрать воздуха, и тут же неминуемо Мишин коснется скафандром корпуса. Мгновенное прикосновение, и током высокого напряжения сразу прожжет скафандр и в образовавшееся отверстие хлынет вода... Работая, надо учитывать и зыбкость доски беседки.

Так и работал Александр Павлович Мишин, почти неподвижно держа свое тело. А какой бы пылающей отвагой ни переполнялось сердце, вода оставалась все такой же студенистой, холодной водой с минусовой температурой. Вода не замерзала лишь из-за высокой солености.

И хотя каждый мускул напряжен, хотя кажется, что ноги, руки и плечи научились само-

стоятельно мыслить и действуют слаженно и четко, все равно холод сковывает.

В пургу, а на Тикси тридцать пять градусов мороза без ветра считалось раем, в пургу при сорока—сорока пяти градусах мороза не успевали скалывать свежий лед, прихватывавший прорубь. Находиться под водой в такую погоду можно, да и полагается, минут десять—пятнадцать. Мишин, Котенко и Андреев находились под водой по два—два с половиной часа. Им казалось, что иначе и быть не может: ведь каждую трещину проходили по пять—шесть раз. После сварки Котенко и Андреев попеременно обрубали шлак, а Мишин накладывал новый слой сварки.

А перед ледоколом «Капитан Воронин» приютилась на льду деревянная будка бригады Сокура. Будка из ящиков, обложенная снегом, облитая водой, сразу же превратившейся в лед, эта будка скорее напоминала терем-теремок. В будке находились в шубах, в валенках и рукавицах. Бочка-печка скорее напоминала о тепле, чем давала его. Выше пяти-семи градусов мороза температура не поднималась. В двадцати—тридцати сантиметрах от печки все замерзло. Но и здесь работа не прерывалась. Отсюда выходили Губин, Мурашев и Сокур поочередно в водолазных костюмах, а сюда их в заледеневших доспехах поочередно втаскивали. Разница была

только в том, что объем работ был больше, чем у соседей.

Льдами были сломаны гребной вал и винт. Трудно перечислить, только перечислить все работы, которые предстояли бригаде. Их было более пятидесяти.

Вот одна из них. Надо было удалить обломки болтов уплотнительных устройств. Тридцать семь этих обломков, спрятавшихся заподлицо, были на тридцать—сорок миллиметров от поверхности. Как быть? Как извлечь их из гнезд? Может быть, высверлить и нарезать новую резьбу, так как на этом месте при постановке винта нужны отверстия для крепления кожуха, ограждающего вал? Но сколько же это потребует времени?

Мурашов и Губин, чтобы не терять драгоценного времени, отважились вывернуть обломки. Действовали крейцмейселем, зубилом и молотком. Один неосторожный, один неточный удар, и зубило помнет или порвет нитку резьбы. Тогда обломок не вывернется. Такое дело не очень просто и в мастерской, а в полярную ночь под водой для человека в водолажном костюме это уже не слесарная, а ювелирная работа. Ни одна нитка резьбы не была порвана.

И каждый болт, обыкновенный, тяжелый болт, Губин и Мурашов уносили в воду так, как, может быть, и бриллиантовых дел мастер не уно-

сит бережным пинцетом самые драгоценные камни. И не всякий редчайший алмаз вправлялся в дамский перстень с таким затаенным дыханием, с каким в ступицу лопасти винта ввинчивался каждый неуклюжий стальной болт.

А вечерами, правда, вечера стали условностью, потому что тьма не редела и в полдень, да и разница с ленинградским временем равнялась шести часам, так вот, по вечерам на ледоколе показывали кинофильмы. Еще не согревшиеся люди смотрели на героев экрана, люди согревались от прикосновения к великому миру и завидовали мужеству тех, кто совершал подвиги на экране. А на другое утро они спускались под лед, боролись с морем и думать не думали, что если уж кому и вступать на экраны, так это им, так буднично и обыкновенно выполняющим очередное задание.

И очередным был спуск и установка винта. Металл, окоченевший на сорокасептиградусном морозе, при погружении в море, оброс трехсотмиллиметровой ледяной корой. Не так-то быстро сумел Мурашев паром отделить металл ото льда. И нужно было этот одиннадцатитонный винт посадить на гребной вал. Правда, очень помогли лебедки, у которых стояли матросы ледокола. Но все же одиннадцать тонн остаются одиннадцатью тоннами.

Да и простая гайка, крепящая винт, весит

двести сорок четыре килограмма. Ее нужно подвести к резьбе, навернуть и затянуть полтора-метровым ключом.

Водолазы выполняли работы кузнецов и ювелиров, работы сварщиков и слесарей-универсалов, но ни одна из этих работ не получилась бы, если бы не настоящая окрыленность, неустанная дерзость, взлеты вдохновения, так же нужные водолазу, как и поэту.

А каково быть на высоте вдохновения, когда в воздушных шлангах образуется ледяная пробка и дышать становится нечем?

Снегом заметало будку, обмерзали руки у матросов, качающих помпу.

И ясно, что если бы не помощь команд ледоколов, то, конечно, шестерым смельчакам оставалось бы только надорваться. Однако все подводные работы, все самое сложное, самое главное было проведено ими.

Когда установили вал и потом винт, на несколько минут из-за белой скалы выглянуло ржавое отсыревшее солнце, словно и его подняли водолазы из моря, словно они спасли и его, и солнце, недоверчиво поглядев в их сторону, скрылось.

Да и можно ли было поверить, что два раненых ледокола, которых предполагали на буксирах тянуть сквозь ледовые засады из Тикси в Мурманск, трудно было поверить, что два обессилен-

ных ледокола, которые предполагали ставить в Мурманске в доки, невозможно было поверить, что оба ледокола возвращены к жизни, что скоро они взрежут высокомерную толщу арктической брони.

И когда убеленные пургой шестеро точек, когда шесть карликов, когда шестеро исхудалых, усталых и простуженных людей снова возникли перед ожившими ледоколами — ночь отступила.

Еще бушевала вьюга, но теперь она не рычала, а рыдала, оплакивала свое титаническое бессилие перед лицом этих жалких фигурок, перед этими детьми, перед этими молчаливыми великанами.

И разве дело только в том, что Мишин, Котенко, Губин, Андреев, Мурашев и Сокур спасли для государства миллионы рублей? Разве дело только в том, что ледоколы возрождены и навигация началась точно в срок? Разве дело только в этом? Нет!

Тут дело куда сложнее! Тут своими руками, своей волей, своим мужеством доселе неизвестные шесть человек утвердили свою любовь к Родине.

Но об этом между ними не было сказано ни слова. Любовь не решается говорить о любви. Мужество молчит о мужестве.

И шесть незаметных человек с прищуренными, покрасневшими от вьюги глазами смотрели на ледоколы, словно не они были причастны к

их небывалому возрождению, словно они просто случайно оказались в Арктике. И сейчас покинут ее.

Часы показывали ночь.

Но солнце положило благодарные руки лучей на плечи водолазов, солнце не хотело, не могло зайти и скрыться.

Ночью был день.





Глаза, скрывающие боль

Пепельной молнией метнулась ящерица в норку, суслик — рыжий жирный кувшинчик — точно сквозь песок провалился около переднего копыта коня. Карликовая тень, и она точно сожжена ослепительным зноем. Вот снова скользнула ящерица и словно вонзилась в сопку. Сопка тянется подобно наконечнику копья и постепенно переходит в другую, а та похожа на каменный топор, которым земля прицеливается, чтобы сразить орла.

Орел, сперва неправдоподобно неподвижный, складывает крылья треугольником, обретает

форму реактивного истребителя и со свистом пикирует на змею. Вот он стиснул змею в когтях, рванул ее железным клювом, вскинул крылья, и задушенная в орлиных когтях кобра пронеслась над пограничником, словно веревка с обвисшими концами. «А ведь, может быть, эта кобра поджидала меня. Я же как раз в этом месте хотел спрыгнуть с коня и прилечь. Вот орел развернулся, сейчас он сядет на ту сопку. Но странно, он почему-то пролетел дальше. Сопка на той стороне, на чужой. И всегда этот орел тащит добычу на ту сопку... Не прячется ли там кто-нибудь?..» — думал Василий Иосифович Алексеев, пристально, словно глаза не ломило от солнца, накаляющего песок до 70°, наблюдая за орлом. Василий Иосифович разворачивает коня и бросает скакуна в галоп.

Он скачет вдоль границы, а ему навстречу, смешиваясь с каким-то потаенным ощущением вечной тревоги, мчатся воспоминания. Вот здесь диверсантка перешла границу ночью, присыпая свои бороздки — следы от специальной обуви сухой землей, которую несла в халате. Почти невозможно было отличить ее следы от следов черепахи, которая оставляет позади себя почти такие же бороздки.

И вот здесь диверсанты пытались перейти по халатам.

А в этом месте границу пересекли туда и об-

ратно, прошли полкилометра вдоль границы и потом снова перешли ее, заматавая свои следы метелкой.

А вот здесь переходили на подковах задом наперед, а здесь — на ходулях, а здесь — прячась за баранов, а здесь...

Только задумайся, и вся граница — граница воспоминаний, граница призраков, граница преступлений, хитрости и подвига.

Василий Иосифович может нащупать след — по отпечатку, по оброненной бумажке, окурку, спичке, по пуговице и нитке, по крошкам еды, по согнутой ветке, по опавшему листку, по запаху. Сейчас все это представляется не главным — так это вошло в плоть и кровь. Сейчас его беспокоит этот орел, убивший кобру и почему-то не приземлившийся на своей сопке.

И как-то сразу вспомнил он: именно здесь, в поисках лучшей жизни, перешли, спасаясь от бая, шесть избитых крестьян. Один из них слезящимися глазами смотрел на Алексева, его изможденное лицо было тупым от усталости и горя, его синяки проглядывали сквозь нищенские лохмотья...

Потом выяснилось, что именно этот бедняк — опытный диверсант, знает французский, английский, немецкий и фарси. Блестяще владеет русским. Во тьме на окрик не ранит из пистолета, а убивает.

Но почему вспомнилось это?.. А то вдруг ясно возникла схватка или точнее безмолвный поединок с таким же, как тот «бедняк», опытным разведчиком...

Алексеев знает самбо, бокс, он на ходу соскакивает с коня и на ходу вскакивает в седло, он с двадцати пяти метров сходу стреляет без промаха в спичечный коробок... Он многое может, многому научил своих пограничников, и еще сегодня ночью радовался их умению маскироваться. Ведь конь чуть не наступил тогда на уши овчарке, и она не зарычала...

Но почему сегодня такое тревожное состояние, словно воздух не только прокален солнцем, но и предчувствием беды?

Вернувшись на заставу, Алексеев не спешившись приказал усилить наряд вблизи Орлиной сопки. Он проследил и за тем, кого посылают. В наряд были посланы два пограничника. Зимой, преследуя группу нарушителей, сбросили они с себя сапоги, шапки, телогрейки и на морозе босиком, раздетыми настигли вооруженных диверсантов.

На пороге дома появилось синее платье. Жена. Она молчала. Ее удивили сегодня его особенно черные под короткими выгоревшими бровями небольшие, но очень яркие и очень грустные глаза.

Василий Иосифович спешился и, передав по-

доспевшему бойцу поводья, направился к жене. Сбоку на тропе, то ли приветственно, то ли угрожающе хлопая крыльями, восседал орел. «Какая-то смесь римского императора и разбойника», — снова подумал о внешности орла Василий Иосифович и пошел теперь к нему, с улыбкой взглянув на жену. Та успокоенно улыбнулась. Сложила руки на груди, полюбовалась точной походкой мужа, его собранностью и силой...

«Уж если к Чижику идет, значит, ничего, значит все более-менее спокойно», — подумала жена и успокоенно улыбнулась. Она с благодарностью вспомнила бойцов, поймавших, а потом и приручивших молодого орленка. Бойцы дали ему кличку Чижик, и орел прижился на заставе, особенно облюбовав себе тропинку, ведущую к солдатской кухне, где повар потчевал юного пленника сырым мясом.

Сперва жена Алексеева побаивалась Чижика, его зловещих когтей и змеиных глаз. Но после одного случая, хотя орленок вырос и превратился в настоящего орла и его свирепый вид пугал незнакомых людей, жена Алексеева полюбила Чижика. После того случая...

Вот Вася подходит к Чижику, гладит его, как котенка, по голове, и гроза небес и песков — орел трется клювастой головой о ладонь офицера...

После того случая...

Перестраивали заставу, жили в палатках, дочурка только на ножки встала, только начала ходить, а тут кобры заладили приползать на заставу. Девочка потянулась к змее, приняв ее за игрушку, хотела погладить, кобра взвилась в боевую позицию, ее шея раздулась, капюшон расширился, змея зашипела, готовая кинуться на ребенка. А девочка заливисто расхохоталась. На ее смех мать выглянула из палатки и обмерла, увидев кобру, нацелившуюся на дочку... И в это время Чижик откуда-то сбоку и сверху пал на кобру, одновременно всаживая ей в голову клюв и стискивая ее точно металлическими когтями.

— Кыш! — махнула девочка на Чижика, который помешал ей забавляться игрушкой...

Василий Иосифович с улыбкой даже приподнял Чижика на руках, и Чижик важно принял эту ласку.

Но вдруг орлиный клюв словно произвольно повернулся в сторону далекой Орлиной сопки, и птица тревожно всплеснула огромными крыльями. Алексеев проследил за ее взглядом. По дороге к заставе мчался пограничник, распластав в галопе коня.

Алексеев опустил орла на землю.

— Пожар! — осаживая коня, крикнул пограничник. — От Орлиной сопки с той стороны. Ветер к нам!

— Заложить добавочные секреты на левом и

правом флангах! — приказал Алексеев. А сам он во главе восьми пограничников ринулся навстречу пожару. Не пустить огонь, не дать выгореть пастбищам.

На конце длинных палок закреплены метелки. Пряча под правую руку лица, чтобы не обгорели, пограничники ударяли метелками под корень, срывая огонь, сбивая, стремясь задушить его.

В пятидесятиградусную жару, под испепеляющим солнцем, ночью и днем несколько километров они шли вдоль полосы огня. А ветер тянул пламя в сторону заставы. Огонь уже приблизился на два километра.

Кончилась вода. Падают люди. Нет сил встать.

Но, преодолевая слабость, начальник заставы встает. Встают, напрягая последние силы, и бойцы.

Наконец в брезентовых ведрах привезли воду. Прибывшие тех, кто уже не мог встать, поили на земле, а потом бросились тушить пожар.

Слышно, как холодно и предсмертно ржут на привязи кони. Кони на заставе чуют огонь.

А пламя, гудя, перескакивает с сопки на сопку. Вот уже унесли детей.

Сквозь огонь как вихри проносятся кони.

А глаза бойцов темнеют от усталости. Обвисают руки. Разжимаются пальцы, выпадают

метелки. Голова кружится, временами уходит сознание, а возвращается — и видишь все ту же идущую по пояс в дыму и наступающую на огонь фигуру Алексева.

Душит гарь. Сверху на бойцов обрушивается нестерпимо палящее солнце. Оно бьет в глаза, и хочется метелкой сбить это солнце и подмять его...

Но Алексей идет, падает, шатаясь поднимается, и снова идет на огонь. И один за другим, падая и вновь поднимаясь, идут за командиром бойцы.

На левом фланге пойманы нарушители, пытавшиеся отвлечь внимание пограничников этим пожаром. Один диверсант взят на правом фланге.

Ведут на заставу задержанного диверсанта.

Пожар потушен. Бойцы осматриваются и видят своего командира на коне. Глаза его ясны.

— А как наш Чижик? — смеясь спрашивает Алексей, но это ему кажется, что он смеется. Брови и веки опалены, одежда прожжена, голоса почти нет, губы потрескались. Эти дни и ночи пожара глубоко запали в морщины лица. Алексей смотрит на своих бойцов, покидает седло, проходит, одного обнимая за плечи, другого даже погладив по голове, как гладят ростки...

И вдруг Алексей думает: такие простые ребята, а сколько смогли...

И он смотрит на спасенные пастбища, на бойцов, на жену.

А она словно видит его впервые, впервые за столько лет, и впервые думает: как глубоки и притягательны его глаза. Глаза, скрывающие боль.





Песок, намытый океаном

— Вот-вот будет цунами! Ждите наших сообщений, держите все наготове!

— Слушаюсь, товарищ подполковник! — майор Заржевский положил телефонную трубку. Цунами! Волна — двадцатиметровый гигант со скоростью от четырехсот до восьмисот километров в час. Цунами сметает все, корабли выбрасывает на пирс, смывает поселки...

Майор посмотрел на телефонную трубку, потом позвал:

— Дежурный!

Но тут судорожно зазвонил телефон.

— Товарищ майор! Это капитан Карпов. Плохо, очень плохо с женой!

— Товарищ майор, дежурный по заставе!

— погоди, — остановил его майор. — Это я не тебе, Карпов. Сообщи по комендатуре, чтобы были готовы к цунами.

Дежурный козырнул и исчез.

— Сообщить по заставе! — приглушенно долетел до майора голос Карпова. — Цунами ожидается. Быть наготове. Детей и женщин — в горы!

— Слушаю вас, товарищ капитан! Плохо с женой? Возьмите сани, фельдшера, двух солдат. Везите к дамбе! — Майор вышел из своего кабинета, миновал коридор и открыл дверь комендатуры.

Апрельский день над заливом сурово хмурился. Тихий поселок, обычно такой солнечный, посерел от набежавших облаков, которые справа, далеко справа смешивали свой блеклый матовый цвет с пронзительной белизной снегов на вулкане Чекист. «Эх, капитан Карпов! Не послушал меня! А теперь! Успеет ли?»

Майор вернулся в кабинет и связался с летной воинской частью:

— Иван Федотыч! Дай вездеход! Жену капитана Карпова надо в больницу доставить, рождает она. Позвони мне, когда они выедут. Да не

сорок, не сорок километров, нет. От вас до дамбы двадцать. А они на санях до дамбы двинутся — это двадцать восемь километров... Ну, одним словом, выручи. Жду...

В это время на мысе жена замполита несла дочку. У дочки в руках была зажата кукла. В горы! Подальше от цунами. Солдаты на бегу рассовывали по карманам только что полученные письма. Некогда и распечатать. Седлали коней, запрягли лошадь в сани. Фельдшер Федощенко захлопывал свой чемоданчик, а тувинец Кулар надевал через плечо автомат.

Капитан Карпов с неловкостью взволнованного человека помогал жене. Она уже была одета в пальто, в плащ, в шаль. Она хотела надеть и шубу, но тут снизу что-то ее ударило, и она повалилась набок.

— Федощенко, Кулар! Носилки! — крикнул капитан.

Больную уложили на носилки, прикрыли шубой и вынесли из комнаты, опустили прямо на носилках в сани.

Федощенко, Кулар и капитан прыгнули в седла, а Мирошин с поводьями пошел около саней: сесть было негде.

Снег на этой, океанской, стороне кое-где сохранился, и полозья саней то мерно вдавливались

в тонкий снежный наст, то тяжело врезались в песок. Тогда лошадь наваливалась грудью, вены на висках и на ногах вспухали, и она очень медленно волокла сани.

«Не закричу!» — придя в себя, обещала, почти клялась себе жена Карпова.

— Ну как, а? — склонялся с седла капитан, бледно нависая над носилками. Капитану хотелось сказать: «Ну как, Оленька!» Хотелось припасть к ней, поцеловать ее руки, ее ямочку на правой щеке, но он только еще больше наклонился с седла, стараясь не замечать фельдшера и солдат, но все же видя, что они поотстали, а Мирошин с отсутствующим выражением лица смотрит на туман, густеющий и наползающий на лошадь, на брызги, на волны, бегущие к самым ползьям.

Оля хотела ответить, что, мол, ничего, что все пройдет. А сказала:

— Ничего не поделаешь!

— Поскорее, поскорее, Мирошин! — торопил капитан.

В комендатуре майор Заржевский не отходил от телефона:

— Вызвать врача из больницы, дать машину, и немедленно выехать к дамбе, навстречу больной. Да, они выехали, везут ее. Действуйте! В

случае чего вышлем за вами вездеход. Торопитесь: состояние больной ухудшается.

Опять речка, а ведь сапоги не обсохли еще после той, которую перешли только что. Но эта и шире, и глубже. Бегущая с хребта Богатырь, она в апреле уже набирает силу, тащит камни, врывается в океан.

Кони вошли, за ними направил Мирошин свою Горку. Вода ударила в полозья, брызги холодно окропили лицо Ольги. Одна капля скатилась в ямочку. Оля опустила руку, но до воды не достала. Перебирая пальцами, длинными и почти прозрачными, она ждала, что речка обдаст ее хоть брызгами.

Конь капитана шел последним, он замыкал группу. Теперь капитан чуть прищипорил коня и, войдя в реку, перегнувшись низко-низко, зачерпнул воды и брызнул на руку Ольги, задел пальцем о палец. Она, не открывая глаз, пошевелила губами, но он угадал. Она беззвучно произнесла:

— Вася.

Он придержал коня, а она так и не приоткрыла глаза. Она знала, что не ошиблась.

— Ну что, как движетесь, капитан?

— Товарищ майор, уже пять километров

прошли. Звоню из первого обогревателя, — косясь на узкие нары и крохотную печурку, поспешно докладывал Карпов. — Как цунами?

— Ждем! — И майор посмотрел на залив.

Майор связался с заставой на мысе Буревестник:

— Как с врачом? Почему не докладываете?

— Врач на вызове. Как только вернется, так сразу направим! — Даже в телефонную трубку доносился нарастающий свист ветра.

Майор положил трубку, но не снимал с нее руки, точно таким образом оставался около капитана Ефимова на мысе Буревестник, точно рядом ощущал руку Карпова и улавливал ее нервную дрожь.

Конь Кулара вошел в речку, за ним, медленно опуская копыта, вступил в воду конь Карпова.

— Сюда! Сюда! — повернулся Карпов к Мирошину. Мирошин первый, ведя в поводу Горку, погрузил сапоги в пену, намыливавшуюся на острый выступ камня. Вода хлестнула, залилась в сапоги. Но разгоряченный солдат не ощутил холода. Горка поскользнулась. Дернула сани.

Ольга закричала. Она хотела молчать, кусала до крови губы, но окровавленный крик рвался из нее, словно кричал и ее ребенок, и река, ко-

торой стало больно от этой боли, и уже Мирошин почувствовал теперь, что он в сапоги набрал воды и льдом сковывает ноги.

Граненое копыто Горки опять соскользнуло с камня.

Ольга вскрикнула, и от этого вопля кипятком обдало капитана.

Невозмутимый тувинец Кулар на несколько сантиметров повернул голову. Горка поскользнулась! Для лучшего кавалериста и прирожденно-го охотника Кулара это было странно. Горка эту речку переходила сотни раз и днем, и ночью, она никогда не оступалась на этом месте. Да и он запряг именно Горку, самую сильную, самую чуткую лошадь. Он даже шепнул ей по-тувински, но так, чтобы никто не слышал, что Горка повезет женщину, чтобы она была осторожней... Тувинец еще на несколько сантиметров повернул широкое медное лицо к Горке, и его умные суженные глаза впились в глаза лошади. Лиловые, расширенные предчувствием беды глаза животного словно кричали. И тут Кулар увидел справа от себя следы, большие, круглые.

— Медведь ходил, большой! — И костистая рука Кулара поправила за спиной автомат, секунду задержавшись на диске.

Свежий след косолапо тянулся к зарослям бамбука, особенно четко песок, опавший с округлых лап, желтел на ноздреватом снегу.

Мирошин уже не глядел под ноги, он шел спиной вперед, тянул за собой упирающуюся Горку, умоляюще смотрел в ее почерневшие от страха, ненавидящие глаза.

«Больше не буду кричать, не буду», — повторила Ольга про себя.

— Не буду больше кричать! — закричала она, и лошадь пошла еще опасливее, и опять поскользнулась.

«Если медведь рядом, кони рванут, а Горка выбросит Ольгу из саней, переломает оглобли, убежит», — Карпов провел вспотевшей рукой по губам. Лицо его взмокло. Но тут и его конь остановился, словно врубленный в песок отлива, прынул ушами и дрожь пошла по шкуре животного.

— Федощенко, поддержи коня! — И капитан глянул на фельдшера, но Кулар уже передал ему поводья, а сам, передвинув автомат на грудь, быстро направился к зарослям бамбука.

Следы, следы. Помет. «Голодный, очень голодный был», — определил Кулар и снял автомат с предохранителя, понимая, что весенний медведь ждет добычи и бросится на человека.

У себя, в Туве, Кулар убил не одного волка, позарившегося на овец. С медведем встречаться ему не приходилось. Шаги укоротились, движение замедлилось. Страх пополз по ногам, по груди, по спине, страх затормаживал движения.

Он спиной почувствовал стон Ольги, и этот сдержанный стон подтолкнул сильнее приказа. Так, умирая, стонала когда-то в Туве мать Кулара. И почудилось ему, на одно мгновение, что там, за спиной, мать, что она еще может выжить.

У скалы, где проходила узенькая дорога, Кулар сперва увидел два коричнево-красных уголька. Медведь! Здоровый. Какой здоровый! Он в засаде так слился со скалой, что и не отличишь: где камень, а где медведь.

Шерсть вздыбилась, а огромный медведь стал меньше. Нет, он и не думал нападать на человека. Он сжался в предчувствии какого-то несчастья, он раньше людей почуял близость пунами и теперь в ужасе, ища защиты от смерти, тянулся к людям и с надеждой глядел на ствол автомата.

Кулар выстрелил над ухом медведя.

Медведь скосил голову, но не тронулся с места. Он даже сделал шаг к Кулару, словно надеясь на его доброту. Но Кулар выстрелил еще. Еще раз!

Медведь точно с укором глянул на Кулара, кинулся было к океану. Но оттуда, от океана, исходило дыхание смерти, и медведь опрометью ринулся к зарослям, тяжело хрустя стеблями бамбука. Потом, подгоняемый автоматной очередью, повернул за выступ горы и скрылся.

И снова впереди конь Кулара, за ним Федо-

щенко, за Федощенко сани. Замыкает группу Карпов. Сзади ему видно, как невозмутимо сидит в седле Кулар, только темным пятном из-под автомата выделяется мокрая куртка. То и дело Карпов оборачивается к Ольге.

Опять река, опять сани, покачиваясь, врезаются в воду, опять ползут по песку, вот дорога берет влево, и лошадь втягивает сани на утес. Уже внизу стелется туманная изморозь, внизу свинцово-серый океан. Он простирается далеко, километровой длины волны, как складки постели тяжелобольного. Океан постанывает, жалуясь земле на свою участь. Морской орел где-то внизу накренил крылья, прицеливаясь...

Капитан наклоняется к Ольге... Смотрит на нее, но она не открывает глаз. Она знает, это он, она не могла ошибиться.

Он всегда поражал ее уравновешенностью, убежденностью в правильности избранного пути, полным забвением тщеславия. На границе, и днем и ночью — в напряжении. Он успевал быть и рядовым пограничником, и сержантом, и поваром, и командиром. Его отцовское чувство заражало, она и себя ощутила его дочерью, а потом... потом вдруг пожалела его. Она знала, что была у капитана жена, да не понравилось ей на Курильских островах, а он не хотел уезжать от-

сюда, и жена уехала. И его одинокость как-то незаметно притянула Ольгу.

Он полюбил Ольгу стремительно, неожиданно для себя, зная, что скоро, очень скоро разница в возрасте даст себя знать. Но он ничего не мог поделать с собой. Он знал, что это его последняя любовь. А может быть, первая и последняя, потому что свои прежние удачи и победы он считал увлечениями. Но, увидев девчонку, приехавшую так далеко, он как бы заново увидел красоту, суровую и порой грустную красоту этих мест. Ведь это Ольга заставила его увидеть эту красоту, когда сама любовалась и горами, и вулканами, и цветом океана, и слепящей белизной прибоя, и по-детски неуклюжими нерпами, лежбище которых было совсем недалеко от заставы. Эта удивленность миром, восхищение первозданностью окружающего были таким естественно-детским, так совпадали с тем, что когда-то очень давно ощущал и он сам.

...Орел, раскинувший крылья, пал вниз, на волну.

Капитан смотрел на бескровное лицо женщины. Она ощутила его взгляд, и ее, опущенные длинными изогнутыми ресницами, совсем детские веки приоткрылись. Серо-зеленые глаза откуда-то из океанской глубины заглянули сни-

зу вверх в склоненное лицо Карпова. Он кивнул и опередил сани.

— Слушай, Карпов, ты со второго обогревателя? Да? — переспросил майор Заржевский.

— Десять километров прошли, но худо ей. Боюсь, сознание потеряет.

— Врач на машине выехала к дамбе. От дамбы двинется вам навстречу.

Врач Софья Андреевна уже была в машине. Нет, не то время, не те годы. Когда-то и на лыжах она добиралась к больным, а теперь к шестидесяти годам астма замучила, и только привязанность к работе и гордость вынуждали ее не оставлять работу. Она смотрела на океан, то подпрыгивая на булыжнике, то наваливаясь на дверцу кабины, то невольно толкая шофера-пограничника, который и торопился и старался вести машину «поласковой». Он даже предложил ей свою телогрейку, она отказалась, но шофер все-таки положил на продавленное сиденье — так мягче будет.

«Дотянет ли сердце до дамбы», — беспокоилась Софья Андреевна. Она задыхалась нынче и ночью, и днем, и на приеме дышать было нечем, и она уже впрыскивала себе адреналин. А

теперь ей хотелось поскорее добраться до дамбы, до обогревателя. Она посмотрела на берег. Вот гигантский позвонок кашалота. Уже затянут песком, а в прошлый раз песок отмыло прибоем. Вот низколобый японский дот, вот с заснеженными лафетами четыре полевые японские пушки.

Машину кидает, она шурша перемахивает через ручьи, буксует, отплевывается мелким камнем, бежит и бежит вперед...

— Товарищ капитан! Товарищ капитан! — крикнул Мирошин.

Капитан осадил коня и мгновенно обернулся.

— Плохо! — И сани стали.

— Федощенко!

Фельдшер, подскакав, спрыгнул с седла, глянул в лицо Ольги, пощупал пульс. Ольга была без сознания.

Фельдшер раскрыл чемоданчик.

— Укол нужен! — прошептал он.

— Так делай! — И капитан отвернулся.

Грузовик завяз в снегу. Софья Андреевна, задышавшись, вылезла из кабины. Открыла свой чемоданчик, достала шприц, набрала адреналин:

— Отойдите, пожалуйста! — И когда шофер отошел, приподняла юбку и, потеряв смоченной в

спирту ваткой исколотую ногу, сделала себе укол.

— Ну, я пойду! Вылезете, тогда догоните.— И она, стараясь не показать шоферу, как ей трудно, поскорее двинулась по дороге, а зайдя за утес, привалилась к нему спиной и долго-долго стояла, не зная еще, сумеет ли она пройти хоть сто шагов.

— Товарищ майор, это Карпов!

— Ну как?

— Прошли восемнадцать километров, но плохо, второй раз фельдшер укол делает.

— Врач двигается вам навстречу.

— Понятно! — Капитан вышел из обогревателя. Сумерки затягивали океан.

Фельдшер отошел от Ольги: она открыла глаза.

— Мирошин, садись на моего и скачи навстречу врачу, — Капитан взял из рук солдата поводья. — К следующему обогревателю.

Мирошин вскочил в седло и галопом погнал коня к четвертому обогревателю. Он подумал о своем письме, о том, что это письмо от девушки, письмо с ответом, от которого зависит его будущее. Но он его еще не распечатал, а сейчас гнал коня и лишь ощущал это письмо в нагрудном кармане... «Интересно, как бы она вела себя, ес-

ли бы с ней случилось такое, что и с женой капитана? А?» И он пришпорил коня.

— Это майор Заржевский, слышишь меня, Мирошин?

— Так точно, товарищ майор, но нет врача на четвертом обогревателе.

— Знаю. Врач должен быть уже у дамбы.

Софья Андреевна шатаясь дошла до двери обогревателя около дамбы, но открыть дверь уже не могла. Она слышала телефонный звонок, но руки не повиновались, ноги отказывались идти, сердце сдавало. Сердце! Как оно нужно было сейчас!.. Как будто бывает хоть одно мгновение, когда сердце нам не нужно! Опять телефонный звонок. Но она прошла не сто шагов, а три километра, три километра песка, снега, астмы, старости. Старости? Не может быть! И рука открыла дверь обогревателя.

— Я слушаю! — еле выдохнула она, узнав голос майора. А он не узнал ее голос, охрипший и ослабший.

— Приехали? — чуя недоброе, спросил Заржевский. — Приехали, Софья Андреевна... Алло, алло! Почему не отвечаете? Что с вами?

— Пришла! — еле выдавила Софья Андре-

евна. Ей было стыдно, что она не может ответить, не сумеет пойти дальше, даже ползти не сможет. Но майор и не настаивал:

— Оставайтесь в обогревателе, за вами с Буревестника пришлют верховую лошадь.

Софья Андреевна опустила трубку и откинулась на узких нарах. Не было сил даже сделать себе укол. Однако она еле открыла чемоданчик, достала шприц, но он выпал из рук. Она снова опустила голову на необструганную доску нар, долгим взглядом рассматривая выбившуюся полуседую прядку, смутно белевшую перед глазами. Сердце...

Мирошин вышел из обогревателя, когда вдалеке показалась фигура шофера. Шофер махал рукой, кричал, звал. Мирошин, тяжело передвигаясь, добрал до лошади, перекинул через круп свою пудовую ногу, помедлил и тронул поводья.

Начал накрапывать дождь.

— Ну как больная? — спросил шофер, еще надсадно дыша после бега. — Майор сказал, что верховую пришлют за врачом, а ты мне коня давай. Я махну к врачу, посажу ее в седло и поведу в поводу. А тебе майор приказал возвращаться к своим, помогать им.

Грянул ливень.

Сквозь эту стену ливня два километра шел

Мирошин, пока не встретил Карпова, Федощенко, Кулара и сани с Ольгой.

Сани остановились перед разлившейся после ливня рекой. Всегда каменистая, достигавшая двухсот метров ширины, сейчас она стала еще шире.

— Понесем на руках! — решил капитан. И они с трудом вынули больную из саней. Сами насквозь промокшие, уставшие, они несли через речку носилки. Ливень утяжелил шубу, вода проникла и под плащ, набрякло пальто Ольги. Но она ни о чем не просила, не жаловалась. Носилки захлестнуло, залило, их наклоняли, чтобы вода стекала.

Впереди шел Кулар и Мирошин, сзади капитан и фельдшер. Плечами касаясь друг друга, они двигались вперед томительно долго, не глядя под ноги, а только в ее лицо, словно эти закрытые глаза могли увидеть и подсказать им, как идти, как двигаться.

Вода била по щиколоткам, добралась до края голенищ, залила и колени, подобралась к поясу.

Тогда носилки положили на плечи и осторожно, тяжело, молча двинулись дальше в десяти шагах от океана, в который их сталкивала река.

Наконец, вышли на другой берег, положили в сани и добрались до обогревателя.

— Товарищ майор!

— Слушаю, Василь Васильевич, слушаю, дорогой! — неожиданно для себя сочувственно и тепло перебил Карпова майор. — Знаю, что ливень был, но может, еще продвинетесь. Лошадь твою отдали уже врачу... А?

Капитан вышел из обогревателя. Чутьем любящего он постигал всю меру опасности, висящей над женой. Он отдал бы свою жизнь за то, чтобы этот переход закончился скорее. Он ненавидел себя за то, что сил нет и у него, что каждый шаг дается с трудом...

Его суровое, молчаливое сострадание было едва ли не больше ее страдания, и он уже терял власть над собой. И тут он увидел, что Мирошин и Кулар присели, медленно достают курево.

Капитана словно что-то швырнуло к ним, он камнем долетел до них:

— Встать, вперед! Ехать!

— Дайте хоть маленько передохнуть! — попросил выдохшийся Мирошин.

— Встать, кому говорю! Встать, вперед!

— Вася! — прошептала она. И столько властного бессилия прозвучало в ее голосе, что капитан точно очнулся.

— Простите меня, отдохните. — И сам ушел

подальше, словно стараясь спрятаться от своего гнева и позора.

Он пошел вперед.

Темнота надвигалась.

Через несколько минут капитан слышал шаги. Оглянулся — никого, посмотрел вперед — никого. Почудилось? Но группа догоняла его.

Навстречу, ведя коня в поводу, шел шофер, а в седле сидела Софья Андреевна.

Капитан обрадовался, помог ей сойти с коня. Софья Андреевна приблизилась к саням, взяла руку Ольги, послушала пульс. Лицо Софьи Андреевны выдало тревогу, но стоило Оле открыть глаза, как Софья Андреевна, вложив в это движение все силы, улыбнулась ей так, словно Оля лежала в больнице, а доктор делал обход.

— Вы совсем молодчина! — И эта святая ложь несколько укрепила больную. А Софья Андреевна уже сделала ей укол, сделала укол и себе, и все двинулись дальше.

К девяти часам вечера после семичасового пути добрались до дамбы. Длина ее восемьсот метров. Она разрушена штормами и цунами, трудно пройти и одному по ней днем. А тут темно, на метр ничего не разберешь вокруг.

— Капитан Ефимов! Это Заржевский. Врубите прожектор, чтобы вплотную к дамбе.

— Слушаюсь, товарищ майор!

— Мыс? Мыс? Это майор Заржевский.
Врубите встречный прожектор, ближе к дамбе.

...У дамбы привязали лошадей, подняли на носилках больную.

Кулар и Мирошин впереди, капитан, фельдшер, шофер сзади.

Софья Андреевна еле-еле двигалась позади.

Прошли пять шагов, сделали шестой шаг. Опустили носилки. Сил не было, тьма. Каждый шаг выворачивал ноги.

Голубая рука прожектора легла на океан. Навстречу ей крест-накрест легла другая серебряно-голубая рука. Но ни одним пальцем не задевали они дамбу. Они светили вдали. Но они светили!

— Не могу больше нести! — глядя в темноту, неестественно твердо признался капитан.

Мирошин достал мокрый конверт с письмом, вскрыл его в темноте и сунул под рубашку, к телу. Кулар тоже спрятал свое мокрое письмо. Фельдшер смочил в спирте вату, нацепил ее на ветку, зажег и передал этот самодельный факел капитану.

— Сюда, сюда, ногу поднимайте, а слева два камня! — скудно освещая громоздящиеся камни, предупреждал идущий впереди капитан.

Еще пять метров и — опустили носилки.

— Ай! Камень, камень давит!

— Понесли! — приказал капитан. — Сюда, сюда, там обрыв! Осторожней! — И он сорвался вниз, но, падая, бросил только что сделанный новый факел под ноги идущим, чтобы они увидели еще тридцать сантиметров дороги.

Он ободрал в кровь голову, плечо и подвернул ногу, но никто этого не видел. Капитан выбрался наверх, на семиметровую высоту, на каменную кромку дамбы, вдоль которой несли его жену.

— Дай спирт! Еще! И ваты.

— Кончился, товарищ капитан! И ваты нет!

— Нател! — протянул Мирошин письмо от своей девушки, и, когда пламя пробежало по страницам, он попытался разобрать хоть строчку... БУДУ ЖДАТЬ... Но пламя выхватило и эти два слова. «Будет или не будет? Вроде с маленькой буквы написано... С маленькой буквы вроде это «будет» написано. Ох, падаем!»! Падая, Мирошин ударился о камни, но носилки опустил на себя.

Так шли, каждый сантиметр нащупывая ногой, падая.

Капитан быстро разделся, снял свою рубаху:

— Подожди, Федощенко!

Отполыхала и рубаха.

Кончились спички.

Шаг за шагом, метр за метром.

Опять сорвался на камни капитан, едва вы-
брался, но снова и снова шел впереди, почти
вплотную пригибаясь к камням, ощупывая их,
ставя ногу Кулара на следующий камень. А ког-
да уронили носилки, он успел принять удар на
себя.

Сколько времени они идут? Казалось, не бы-
ло ничего в их жизни, кроме этой дамбы, кроме
мертвенно бледных бессильных лучей прожекто-
ра справа, кроме грохота океана, кроме этих
брызг, кроме этих камней. Весь путь, вся
жизнь — это камни, камни, острые камни, кото-
рые рвут твоё тело, твою душу, твою молодость,
рвут на части. Но надо нести, надо идти вперед
и, падая, принимать груз на себя.

Надо только поднять ногу, только нащупать,
сквозь сапог ощутить надёжность камня и шаг-
нуть на десять, на пятнадцать, даже на двадцать
сантиметров вперед! Надо идти.

Пять часов, пять лет, пять жизней стоило
это каменное пространство в восемьсот метров.

Федощенко упал. К нему подошла Софья
Андреевна, а капитан подошел к носилкам.

Сил уже не было ни у кого. Носилки стояли
в ночи на каменной дамбе, а до конца дамбы
оставалось метров пятьдесят. Но казалось, что
конца ей не будет. И не скоро вернутся силы к
людям.

И тут капитан нагнулся к носилкам. В темноте не сразу поняли, что он делает. А он неведомо какой силой подхватил Ольгу, подхватил как ребенка, поднял на руки и понес ее над каменной пропастью по кромке дамбы.

И никогда они не были так близки, так дороги, так понятны друг другу. И они могли бы сорваться вниз и разбиться, но Ольга только теперь впервые ощутила силу любви.

— Алло! Алло! Алло!

— Слушаю, товарищ майор! Это Мирошин.

— Пришли к обогревателю, Мирошин, а? Где капитан, как его жена?

Оля на носилках лежала недвижно на нарах, а около нее, в изнеможении откинувшись, лежал капитан. Кулар и Федощенко сидели, потому что места больше не было. Софья Андреевна прослушивала больную. Потом сделала ей еще укол. Ольга не шелохнулась.

Софья Андреевна тронула руку капитана, знаком вызвала его из обогревателя.

— Через час будет вездеход, — объяснил капитан, когда они вышли.

— Надо нести ее дальше, ей очень, очень плохо, трудно определить всю меру опасности. И помните о цунами.

Капитан пошатываясь вошел в обогреватель.

— Надо нести дальше, — сказал он потухшим голосом. Он видел лица в крови, видел ободранные куртки, прорванные до **живого** тела. Он знал, что никто ничего не ел с утра, никто не отдыхал ни минуты. Лица, обтянутые кожей, как у Ольги. Теперь, пожалуй, ее лицо можно было сравнить с их лицами.

— Надо нести! — Но капитан не мог приказывать. Он чувствовал, что не имеет уже права.

Никто не шевельнулся...

Дверь в обогреватель открылась.

— Товарищ капитан! Вездеход в ваше распоряжение прибыл. Ну и дорога, чуть гусеницу не своротило! Грузите больную.

Океан гремел, грохот его заглушил шум мотора вездехода, но всем было слышно, как застонала, как смертельно застонала Оля.

Мирошин бросился к ней первым. Он испытывал необыкновенную жалость к этой женщине. Таковую сильную, что в горле застрял непроходящий комок. Он увидел ее мужество! Он уже не жалел о письме, которое сгорело, чтобы осветить десять сантиметров из тех восьмиста метров пути.

Они погрузили носилки на вездеход.

В кабину сел капитан, а Софья Андреевна настояла, чтобы ее посадили в кузов. Сел с ними и шофер грузовика.

Вездеход тронулся, развернулся, и тут случилось самое страшное — слетела гусеница!

— Товарищ майор... — хотел было доложить водитель вездехода, но майор перебил его:

— Второй час возитесь! Погибнет человек!

— Заканчиваем. Сейчас двинемся. Спасибо, и Кулар помог да шофер с грузовика.

Наконец, вездеход тронулся.

Океан неистовствовал.

Когда вездеход поднялся на гору, ударила гигантская волна цунами. Она дохлестула и до горы, перекинулась через прожектора, ее гигантский гребень почти доплеснул до вездехода, и несколько капель упали на лицо Ольги, упали на пальцы откинутой руки.

Волна отхлынула, оставив на гребне скалы мертвого медведя.

Вездеход двинулся дальше, а океан намывал песок, затираал следы этой ночи, заравнивал эти следы, словно нет ни любви, ни преданности, ни отваги, а только есть этот вечный гул океана и этот, океаном намытый песок.





Льдин иссеченные края

Персиковая нежность загара. Томно откиннутые руки, и в неподвижности сохранившие плавность. Счастливые серые глаза. Точно поющие о радости брови. Осиянная солнцем девушка в купальнике — как все это не вязалось с палубой, с грязной палубой, присыпанной льдышками, рыбьей чешуёй, ворсинками тросов и канатов.

Сато с бессмысленностью обреченного уставился на эту картинку, вырванную метелью из журнала и примороженную к палубе. Он не смотрел больше вокруг, он слушал, как ворочались льдины, словно жернова, перетирая обшивку шхуны; как где-то трескались льдины, которым даже в океане было тесно.

И все это было тишиной, потому что, глядя на загорелую девушку, Сато прислушивался к

тому, что делается в кубрике. Да, он не ошибся. Но быстро двигаться он уже не мог: совсем окован. Поэтому он, точно на протезах, доковылял в своих ледяных резиновых сапогах до кубрика. Вот один его брат — старший. Замерзая, он сунул руки под свою куртку и так умер. Наверно, часов десять назад. Средний брат умер мучительно, и сейчас лицо его было искажено болью или мольбой, а скрюченные пальцы руки протянуты, как за подаванием, к рукам хозяина.

Хозяин только что достал из потайного места бутылку сакэ. Он выжил потому, что не дал никому ни глотка. И теперь он уже бессильными пальцами вытягивал пробку.

— А мне! — и Сато протянул руку с такими же скрюченными пальцами, как у мертвого брата, к хозяину.

Хозяин вытащил пробку и, оттолкнув Сато, двинулся на палубу. Но Сато схватил его за плечо. Хозяин оттолкнул его снова. Они сцепились в борьбе за откупоренную бутылку водки. за эти глотки тепла — за капли жизни.

Хозяин был старше, опытнее, сильнее. Он сумел повалить Сато на палубу, а сам вскинул бутылку, приник к ней. Но Сато протянул к ней пальцы и неловко задел бутылку, она опрокинулась, заливая остатками влаги, точно отмывая от грязи, нежную девушку, около которой

еще пытались задушить друг друга эти двое.

И вдруг оба кинулись к палубе, приникли к ней, чтобы губами собрать снежинки, пропитанные сакэ. И снова сцепились. Но холод сильнее злобы, особенно когда все кончено.

Они разошлись в разные стороны. Хозяин ощутил в себе холод смерти, почувствовал неотвратимое приближение небытия. Но все-таки это было бы лучше, чем встреча с русскими пограничниками. Ведь это он — хозяин завысил сумму страховки своей старой лохани, ведь это он приказал пойти так далеко на север и нарушить морскую границу, чтобы их лохань конфисковали, а он бы, вернувшись, мог получить всю сумму страховки и купить новую шхуну. Это по его вине замерзли два брата Сато. И теперь, если бы их заметили русские пограничники, Сато выдал бы им его. Нет, лучше замерзнуть.

О, далек путь от Вакканая к северной оконечности этого острова, а уже так давно их суденышко затерло льдами, зажало, неотвратимо повлекло в неизвестность. Хозяин посмотрел на Сато. Широкое, словно кусок сероватого льда, отколотого от льдины нужды, лицо его нависало над одеревенелой латаной рыбацкой курткой. Редкая бородка, как частокол льдинок. Будто и прорастала борода из куска льда и была потому ледяной. Хозяин скосил выцветшие глаза на женскую фигурку, беззаботно отдохавшую

на солнечном пляже журнального листа. Поднял взгляд на Сато. Он прислонился или примерз к борту... Хозяин начал медленно подсчитывать убытки. Его замерзающие мысли и оконеченные цифры падали куда-то в шуршание, потрескивание, скрежет льдов.

Хозяин чувствовал, что он отчаливает в какое-то неведомое плавание, из которого не возвращается никто. Не думая уже ни о чем, подтащился к Сато. То ли смерть уравнивает, то ли и умирая надеялся он позаимствовать предсмертного тепла своего рыбака, но только он глянул, как сложил на животе руки Сато, и приник к его плечу. Он поднял глаза на Сато.

И увидел презрение и ненависть.

О, как холодно. Как тихо. Как громко лопаются льды. Чудится или снится? Вот огромные сложенные на животе руки бронзового пятисоттонного Будды. И в руках у Будды бутылка с сакэ. Или это Сато стал Буддой, и ему должен молиться он — хозяин? Или это вовсе и не лицо Сато, а лицо священной Фудзи? Фудзияма! Вот он — хозяин в теплой одежде юношей поднимается на гору Фудзияму встречать весну. И что это — оркестр или льды? Откуда тут грохот льдов?..

Сато увидел, как поднялась девушка с журнального листа, как улыбнулась ему. И он улыбнулся ей. И стало так хорошо. А у нее в руке

появился веер, и сама она стала большой, и на плечи ее слетело кимоно, разрисованное рыбами. И живые рыбы начали сами вбрасываться на палубу, и королевские крабы переваливались через борт. И старший брат в изумлении спрятал руки под куртку, а средний брат протянул скрюченную руку навстречу королевским крабам. И солнце пекло. И было так сытно, тепло, мягко. И только все громче и громче что-то ухало.

Хозяин понял, что это не оркестр!

Среди этого грозного грохота хозяин юношей сошел с горы Фудзиямы, прошел, старея, мимо Будды, и Сато отстранился от девушки, и оба, потрясенные залпами лопающихся льдов, оказались перед заиндевевшими людьми. Самое страшное свершилось: хозяин в ужасе отпрянул от русских пограничников.

Маленький пограничник, проходя по палубе, осторожно переступил через загорелую девушку.

Хозяин не понял, почему оба русских начали оттирать руки Сато, а не ему — хозяину. Ведь даже по одежде видно, что Сато — просто рыбацк, а он — хозяин. И водку первому дали работнику, а не ему — хозяину. И шубу, овчинную шубу маленький пограничник, сняв с себя, надел на плечи Сато, а уж потом другой, плечистый,

накинул свою шубу на хозяина. И от того, как эти русские улыбались работнику, хозяину стало еще страшней и холодней.

Их повели мимо ледяных торосов, мимо обреченной шхуны.

Маленький русский жестом приказал остановиться, снял с себя валенки, а с Сато — его ледяные резиновые сапоги. Теперь Сато шел в шубе и валенках, а русский — в своей ватной куртке и в резиновых сапогах.

Плечистый пограничник как бы мимоходом глянул на теплую обувь хозяина и продолжал путь, то и дело поддерживая Сато. И только когда маленький пограничник натянул на руки Сато свои варежки, плечистый, видимо, поколебавшись, сунул свои варежки хозяину.

Сато было все теплей, словно он входил в весну, а хозяину, все холодней, словно его окружали льдины.

На пограничной заставе их провели к плите. Маленький пограничник снял несколько кругов с плиты, и пламя затанцевало совсем рядом, совсем как та загорелая девушка.

Хозяин льстиво улыбался, с преувеличенным усердием гнул спину при каждом поклоне и даже уступил Сато лучшее место у огня, а сам просяще смотрел в глаза работнику, мысленно умоляя его не выдавать.

Но Сато словно перестал замечать хозяина.

Временами ему казалось, что сон не прекращается, тот последний сон.

Его учили, что русские трусливые враги. Но зачем эти двое прошли за ними по льдам, сквозь ледовые заторы, зачем спасли их? Зачем привели на кухню и теперь кормят?

— Сато Митио! — неожиданно для себя говорит работник; отодвигая опустошенную тарелку и тыча пальцем себя в грудь.

— Знаешь, Коля, — подумав и что-то вспоминая, обращается маленький пограничник к своему плечистому напарнику. — Мне рассказывал дед, что с ними против японцев партизанил один японский коммунист. Против интервентов. Дед говорил, что его и сейчас чтят японцы. Его звали тоже Сато Митио!

Пограничники, дружелюбно улыбаясь, всматриваются в оттаявшее лицо спасенного рыбака.

Хочет улыбнуться и Сато. По-русски он не понимает. Но чувствует, что эти люди зла ему не желают. Однако он не может улыбнуться, не может, словно горькое выражение нужды с детства осталось на его лице навсегда.

Плечистый берет тарелки, уходит за перегородку, где в белом халате мелькает повар, и, вернувшись, первую тарелку каши с мясом дружески ставит перед Сато. Вторую с низким поклоном принимает хозяин и снова заискивающе заглядывает в глаза работника.

Истоплена баня. Маленький дал Сато свою бритву. Сато побрился, помолодел.

После бани они вышли разгоряченные. Но озноб то и дело продирает хозяина. Бриться он не стал, а время от времени в смятении пощипывал свою подбитую сединой бородку, словно хотел попросить снисхождения к своему возрасту.

Им стелят чистые простыни, чистые наволочки, матрац. Сато не помнит: спал ли он когда-нибудь в такой чистой постели. Он долго перед сном смотрит на портрет Ленина, на ленинскую улыбку.

— Ленин! — говорит он себе.

Он уже хочет уснуть, но тут маленький русский приносит любовно изданный красный томик «Японская поэзия».

Хозяин кланяется. Сато с сожалением разводит руками, гладит книжку, а когда русский произносит имя знаменитого народного поэта Японии Якамбэ Акахито, Сато начинает кивать, и даже хозяин чувствует, что страх его сменился недоверчивым изумлением.

Пока они спят, командование части связывается с японскими властями.

...Через день на другой стороне острова, где берег местами свободен ото льдов, ранним утром происходит церемония передачи спасенных рыбаков.

На руках Сато и хозяина русские теплые варежки.

Хозяин думает о раздавленной шхуне, о том, что Сато его не выдал.

А Сато думает о своих братьях и еще о том, что во льдах осталась та загорелая девушка, на которую не наступил пограничник.

Сато садится в лодку, потом выскакивает из нее, и хозяин со страхом привстает на сиденье, следя за работником. Сато подбегает к маленькому пограничнику. Останавливается. Ища какой-то мостик понимания, вдруг вспоминает и говорит:

— Якамбэ Акахито. Ленин.

Русский улыбается. Какое-то предвестие улыбки касается и лица Сато, он дважды повторяет то, что не слышат сидящие в лодке и не понимает русский: «Если вы трусы, кто смелый? Если вы враги, кто друзья?»

Потом Сато неожиданно чувствует, что слезы мешают ему разглядеть пограничника. Он двумя руками хватает его руку, прижимает к своей груди. Поворачивается и, не оглядываясь, бежит, вскакивает в лодку.

Лодка вспенивает волну и вырывается из бухты, она скользит мимо расступающихся льдин, мимо льдов, иссеченных теплом близящейся весны.

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
Стой, мгновенье!	3
Застава или крепость?	10
Человек	31
Открытое сердце	41
Подо льдом	51
Глаза, скрывающие боль	67
Песок, намытый океаном	76
Льдин иссеченные края	101

Борис Саввович ДУБРОВИН
СТОЙ, МГНОВЕНЬЕ!

Редактор **А. Гусакова**
Художник **Ю. Макаров**
Худож. редактор **Е. Соколов**
Техн. редактор **А. Назарова**
Корректор **З. А. Патеревская**

Сдано в набор 12.II 1964 г.
Подписано к печати 22.VII 1964 г.
Изд. № 72. Формат бум. 60×90^{1/32}.
Бум. л. 1,75. Печ. л. 3,5. Уч.-изд. л. 3,02.

А 03157. Цена 9 коп.

Тираж 200 000 экз. Заказ 593.
Опубликовано тем. план 1964 г. № 74.
Изд-во «Знание». Москва, Центр,
Новая пл., д. 3/4.

Типография изд-ва «Знание».
Москва, Центр, Новая пл., д. 3/4.

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Просим Вас отзыв о данной книжке и свои пожелания присылать в Издательство «Знание».

Наш адрес: Москва, Центр, Новая пл., д. 3/4.